

Олдос Хаксли Гений и богиня



«Олдос Хаксли. Гений и богиня»: АСТ Москва; Москва; 2010
ISBN 978-5-403-03193-6

Аннотация

Ещё одна история о любви... Эгоистичный, инфантильный гений ядерной физики и его жена, любовью и вниманием которой он питается. Система несбалансирована и в ней попросту необходим третий. Когда же участниками классической драмы становятся ещё и дети и, наконец, самый страшный персонаж — Общественная Мораль — драма становится трагедией.

Олдос Хаксли Гений и богиня

— Вся беда литературы в том, — сказал Джон Риверс, — что в ней слишком много смысла. В реальной жизни никакого смысла нет.

— Так-таки нет? — спросил я.

— Разве что с точки зрения Бога, — поправился он. — А с нашей — никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем, ни другим. По сути дела, жизнь — это цепочка дурацких событий, а каждое дурацкое событие — это одновременно Тэрбер¹ и Микеланджело, одновременно Мики Спиллейн² и Фома Кемпийский³. Характерная черта реальности — присущее ей несоответствие. — И когда я спросил:

¹ Тэрбер Джеймс Гровер (1894-1961) — американский писатель и художник карикатурист.

² Мика Спиллейн (род. в 1918 г.) — американский писатель, автор жестоких детективных романов.

³ Фома Кемпийский (1380-1471) — монах из ордена августинцев, автор знаменитого сочинения «Подражание Христу».

«Чему?» — он махнул широкой коричневой дланью в сторону книжных полок. — Лучшим образцам Мысли и Слова, — с шутливой торжественностью провозгласил он. И продолжал: — Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды. — Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых». — Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы. О литературе по физике и химии. Об исторической литературе. О философской... — Его обвиняющий перст перемещался от Дирака⁴ к Тойнби⁵, от Сорокина⁶ к Карнапу⁷. — Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре.

Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне.

— «Жизнь Генри Маартенса», — прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее, для него это не просто знаменитость. — Ты же был его учеником, верно? Риверс молча кивнул.

— И это официальная биография?

— Официальная литературная версия, — уточнил он. — Незабвенный портрет ученого из многосерийной телетягомотины, знакомый тип: слабоумный ребенок с гигантским интеллектом; страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями; одинокий мыслитель и в то же время нежнейший семьянин; рассеянный душка-профессор, вечно витающий в облаках, но, в общем, ужасно славный. По-настоящему же, как это ни печально, дело обстояло отнюдь не так просто.

— Ты хочешь сказать, что книга неточна?

— Да нет, все, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же все вздор — это не имеет отношения к действительности. И, возможно, — добавил он, — возможно, так и следует писать. Возможно истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы ее запечатлеть, слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы ее олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь узнать правду: оскорбительно, когда тебя дураят этакой слащавой картинкой.

— И ты собираешься описать все по-настоящему? — предположил я.

— Для широкой публики? Упаси боже!

— Хотя бы для меня. В частной беседе.

— В частной беседе, — повторил он. — Собственно, почему бы и нет? — Он пожал плечами и улыбнулся. — Отчего бы и не устроить маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов.

— Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане.

— А это и есть дурман, — ответил он. — В воспоминанья уходят с головой, как в джин или амиталат натрия.

— Ты забываешь, — сказал я, — что я писатель, а Музы — дочери Памяти.

— А Бог, — живо добавил он, — братом им не приходится. Бог ведь не сын Памяти; Он дитя Непосредственного Восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем «теперь». Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература. Но мудрости не будет и помину. Обретенное Время есть Утраченный Рай, а Утраченное Время — Рай

⁴ Дирак Поль (1902-1984) — английский физик, один из создателей квантовой механики.

⁵ Тойнби Арнольд Джозеф (1889-1975) — английский историк и социолог.

⁶ Сорокин Питирим (1889-1969) — социолог.

⁷ Карнап Рудольф (1891-1970) — австрийский философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки.

Обретенный⁸. Что было, то прошло.

Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен.

Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом томных, словно у египтянки, волос, — а еще огромные полотые колонны Баальбека, и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. О ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен. Как раз в Баальбеке⁹ я сделал ей предложение и получил отказ.

— А если б она выбрала меня, — промолвил я, — мне тоже пришлось бы этому выучиться?

— Элен имела обыкновение делать, а не читать проповеди, — ответил Риверс. — У нее трудно было не научиться.

— А как же насчет моего писательства, как насчет тех самых дочерей Памяти?

— Можно отыскать способ с толком использовать оба подхода.

— Компромисс?

— Синтез, третью позицию, объединяющую две другие. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Элен умудрялась брать от жизни все даже на пороге смерти.

Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли, и вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос появились седые локоны, вместо девичьего лица я увидел тонкие увядшие черты пожилой женщины.

Наверное, сообразил я, она заболела уже тогда.

— Я был в Афинах, когда она умерла, — вслух произнес я.

— Помню. — И он продолжал: — Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради нее — ты был ей очень по душе. Разумеется, тоже, умирание — это искусство, и нам и тин и годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Элен постигла искусство умирать, ибо постигла искусство жить — жить теперь и здесь, к вящей славе Божьей. А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого, маленького "я". Живя, как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим, — заметил Риверс немного погодя, — нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков. Нынче тебя воскрешают, так что можешь жить дальше и лелеять свой артериосклероз или, к примеру, рак простаты.

Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А впрочем, сегодня ведь канун Рождества, так что история о привидениях как раз кстати. И потом, ты мой старый приятель, и даже если ты состряпаешь из этого повестушку, что тут особенного?

Его крупное морщинистое лицо осветилось ласковой иронией.

— Если тебе это неприятно — не буду, — заверил я. На сей раз он рассмеялся открыто.

— И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома, — процитировал он. — Скорей я доверю своих дочек Казанове, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятвы литераторов сгорают еще легче, чем супружеские или монашеские.

Я попытался было возразить, но он не стал слушать.

⁸ «Утраченный рай», «Обретенный рай» — поэмы Дж. Мильтона (1608-1674). «В поисках утраченного времени» — название цикла романов Марселя Пруста (1871-1922); «Обретенное Время» — последний из романов этого цикла.

⁹ В городе Баальбеке (Ливан) находятся развалины древнего (с XVIII в. до н.э.) Гелиополя, позднейшей римской колонии Юлии-Августы-Феликс.

— Пожелай я сохранить это в тайне, — произнес он, — я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты все-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание. Мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими — чистое совпадение. Чистейшее!

А теперь вернемся к Маартенсам. Где-то у меня был портрет. — Он тяжело поднялся с кресла, добрал до стола и выдвинул ящик. — Все мы вместе: Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса, — заметил он, поворошив бумаги в ящике, — нашелся именно там, где следует.

Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых: маленький, сухощавый человек, седовласый и крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними — смеющаяся блондинка, широкоплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд — длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей, мальчуган лет девяти-десяти и его старшая сестра с косичками, лет тринадцати.

— Какой он пожилой на вид! — было моим первым замечанием. — Годится своим детям в дедушки.

— И при этом в пятьдесят шесть все еще такой неумеха, что Кэти нянчилась с ним, как с младенцем.

— Довольно сложная кровосмесительная комбинация.

— Но так все и было, — заверил Риверс. — У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет. И она охотно дарила ему эту возможность — она была воплощенным материнством.

Я снова взглянул на фотографию.

— Какая очаровательная смесь стилей! Маартенс — чистая готика. Его жена — вагнеровская героиня. Дети — прямо из сочинений миссис Моулзворт¹⁰. А ты — ты... — Я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок. — Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия Праксителя.

— Разве я не дотягиваю до оригинала? — огорчился он. Я покачал головой.

— Взгляни на нос, — сказал я. — Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины; это Геркуланум. Но, к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей ты был парень что надо, настоящий греческий бог.

Риверс построил кислую мину.

— С виду я, может, и годился на эту роль, — произнес он. — Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее... — Он покачал головой. — У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомни, в ту пору я являл собою плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с двенадцати лет — единственное утешение овдовевшей матушки. Да-да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье места; Бог очутился в аутсайдерах. И, разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорового пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмена.

— Но разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом?

— Я показал на фотографию атлета в кудряшках.

Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом:

— А твоя матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей суженой, — это его девственность?

— К счастью, нет.

¹⁰ Моулзворт Мэри Луиза (1839-1921) — шотландская писательница, известная в основном как автор книг для детей и юношества.

— Так-то; а моя говорила. Причем опустившись на колени, в процессе внеочередной молитвы. Внеочередные молитвы — это был се конек, — в скобках заметил он. — Тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила речь, еще натуральнее звучал нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к Евреям¹¹.

Как языковой феномен, это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью. Особенно когда это касалось Великого Таинства. Хочешь верь, хочешь нет, но в двадцать восемь лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарочек.

Воцарилось молчание.

— Бедняга Джон, — наконец произнес я.

Он покачал головой.

— Верней сказать — бедная моя матушка. У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении сорока лет она замышляла женить меня ни какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы немилость Божья, Джон Риверс проделал бы этот путь паинькой. Но милость Божья была недалеко — она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Маартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях, получил обо мне хороший отзыв от моего профессора, может предложить лишь смехотворно малое жалованье — но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива. Но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И, вечная ей за это хвала, Бог разрешил отпустить меня.

Минули десять дней, и я вышел из такси у порога дома Маартенсов. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаюсь собрать все свое мужество и позвонить.

Точно напроказивший школьник, которого вызвал сам Директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Маартенса, чтобы раскусить такого, как я? Неделя? День?

Да не больше часу! Он станет презирать меня; я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше. А может, и хуже. Маартенсы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно.

Какая необычайная любезность! И вместе с тем какая дьявольская жестокость! В строгой и изысканной атмосфере этого дома я не премину обнаруживать свою истинную суть — я, робкий и ограниченный, безнадежный провинциал. Однако Директор ожидал меня. Я стиснул зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах.

Знаешь, из тех, которые родились еще до отмены рабства, да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и хотя Бьюла частенько переигрывала, ее мало было назвать сокровищем; вскоре я обнаружил, что она движется прямоком к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же примяла меня как давно пропавшего члена семьи, такого блудного сына, только что от корыта с рожками¹²].

¹¹ Послание к Евреям — одно из новозаветных Посланий св. апостола Павла.

¹² ... только что от корыта с рожками. — Ср. в притче о блудном сыне: «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему» (Лк 15 : 16); рожки — стручки рожкового дерева.

"Сейчас я приготовлю вам сэндвич и добрую чашку кофе, — твердо сказала она и добавила: — У нас все дома". Потом открыла другую дверь и впахнула меня внутрь. Я напрягся в ожидании встречи с Директором и культурной атаки. Но увидев я подобную сцену лет через пятнадцать, я решил бы, что это пародия братьев Маркс в минорном ключе. Я очутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке, с расстегнутым воротничком, лежал седой человек, явно умирающий — ибо он был мертвенно-бледен и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним, в кресле-качалке, — левая рука у него на лбу, в правой томик Уильяма Джемса¹³ «Плюралистическая вселенная», — спокойно читала самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. На полу устроились двое детей: рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет четырнадцати с длинными загорелыми ногами — она лежала на животе и писала стихи (я заметил строфы) красным карандашом. Все так глубоко ушли в свои занятия — игру или сочинительство, чтение или умирание, — что по меньшей мере полминуты мое присутствие в комнате оставалось абсолютно незамеченным.

Я кашлянул — безрезультатно; снова кашлянул. Мальчишка поднял голову, вежливо, но безо всякого интереса улыбнулся мне и опять мнил поездом. Я подождал еще десять секунд; потом в отчаянии шагнул вперед. Поперек дороги лежала поэтесса. Я переступил через нее. «Извините», — пробормотал я. Она осталась безучастна; но та, что читала Уильяма Джемса, услышала меня и подняла взор. Поверх «Плюралистической вселенной» на меня глянули ярко-синие глаза. «Вы насчет газовой плиты?» — спросила она. Лицо ее лучилось такой красотой, что я замешкался с ответом. Мне удалось лишь покачать головой.

«Чушь! — сказал мальчуган. — У газовщика усы». — «Я Риверс», — промямлил я наконец. «Риверс? — неопределенно переспросила она. — Риверс? Ах, Риверс! — На нее внезапно нашло озарение. — Я так рада...» Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза, издал странный боевой клич на вдохе и, вскочив, ринулся к распахнутому окну. «Смотри под ноги! — закричал мальчишка. — Под ноги!» Раздался треск. «О Господи!» — добавил он со сдержанным отчаянием. Великолепный Центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части. «Господи! — повторил мальчик; а когда сестра заметила ему, что нечего божиться, пригрозил: — Я сейчас по правде выругаюсь! Я скажу...» Губы его зашевелились и немом проклятии.

Тем временем от окна донесся жуткий хрип, словно кого-то медленно удавливали.

«Извините», — сказала красавица. Она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический звук. Подолом юбки она смахнула семафор.

Малыш испустил разъяренный вопль. «Ты, бестолочь, — завизжал он. — Ты... слониха несчастная!» «Слоны, — нравоучительно заметила поэтесса, — всегда глядят себе под ноги. — Затем она повертела головой и в первый раз обнаружила мое присутствие. — Они о вас совсем забыли, — с усталым, презрительным превосходством пояснила она. — Так уж тут водится».

Рядом с окном все еще продолжалось медленное удушье. Согнутый пополам, точно от удара в пах, седой человечек боролся за глоток воздуха — но, если верить собственным глазам и ушам, борьба была безнадежной. Около него стояла богиня, похлопывала по спине и приговаривала что-то утешительное. Я страшно перепугался. Ужаснее этого зрелища я в жизни не видел. Кто-то потянул меня снизу за штаны. Я обернулся — на меня смотрела поэтесса. У нее было узкое сосредоточенное личико и чересчур большие, широко расставленные серые глаза. «Таится, — сказала она. — Мне нужно три рифмы к слову „таится“. У меня есть лица — это куда ни шло, и еще у меня есть молиться — это просто потрясающе. Может, зарница? — Она покачала головой; затем, хмурясь, поглядела на свой листок и прочла вслух: — И что-то мрачное таится в душе моей, где не блеснет зарница. Не

¹³ Уильям Джемс (1842-1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма.

очень-то мне нравится, а вам?» Я был вынужден признать, что тоже не очень. «Однако именно это я и хочу сказать», — продолжала она. Меня осенило: «А может, гробница?» Лицо ее просветлело от радости. Ну конечно, конечно! До чего же она бестолковая!

Красный карандаш застрочил с сумасшедшей скоростью. «И что-то мрачное таится, — торжествующе продекламировала она, — в глуби души моей, как в каменной гробнице». Видимо, я не выразил особенного восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли, на мой вкус, удачнее: в ледяной гробнице. Не успел я ответить, как раздался очередной хрип удавленника, погромче. Я поглядел в сторону окна, затем — снова на поэтессу. «Мы ничем не можем помочь?» — прошептал я. Девчушка покачала головой. «Я смотрела в Британской энциклопедии, — отозвалась она. — Там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни. — И затем, видя мое неослабевающее беспокойство, пожала узенькими, костлявыми плечиками и сказала: — К этому вообще-то привыкаешь».

Риверс усмехнулся сам себе, смакуя воспоминание.

— К этому вообще-то привыкаешь, — повторил он. — В четырех словах заключены пятьдесят процентов всех Утешений Философии¹⁴. А остальные пятьдесят процентов можно выразить шестью: «Брат, всяк помрет, как смерть придет».

Или, по своему усмотрению, сделать из них семь: «Брат, всяк и помрет, как смерть придет».

Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова.

— Ну вот, так я и познакомился с семьей Маартенсов, — промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей. — Вообще-то я привык ко всему довольно скоро. Даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После двух-трех случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и прочие. То он помирает от удушья, а то, глядь, уже совсем свеженький и трещит без умолку о квантовой механике. И эти спектакли продолжались до восьмидесяти семи лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло, — добавил он, в последний раз ткнув полено, — если дотяну до шестидесяти семи. Я был здоровяк, понимаешь. Про таких говорят:

«Силен, как бык». И в жизни ни разу не чихнул, а потом бац — схлопотал атеросклероз, фьюить — отказали почки! А былинки, ветром колеблемые¹⁵, вроде бедняги Генри, живут себе да живут, жалуясь па плохое здоровье, пока им не стукнет сотня. И ведь не просто жалуется — действительно страдают. Астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немислимая утомляемость, неопикуемые депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик и в лаборатории другой такой же, битком набитые пузырьками с гомеопатическими средствами, и он никогда не высовывал носу из дома, не прихватив с собой рус токс, и карбо вег, и брионию, и кали фос¹⁶. Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли осталось больше одной-единственной молекулы целительного вещества.

Но Генри нелегко было сбить с панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей — полей чистой энергии, полей отдельно от тел. И те времена это звучало нелепо. Однако не забывай, Генри-то был гений. И теперь его нелепые рассуждения начинают обретать смысл. Еще несколько лет — и они станут самоочевидными.

— Что интересуется лично меня, — сказал я, — так это неполадки в животе.

Помогали ему шарики или нет?

¹⁴ Имеется в виду «Утешение философией» — трактат римского философа и государственного деятеля Бозэция (ок. 480-524), написанный им в тюрьме перед казнью.

¹⁵ Былинки, ветром колеблемые. — Ср.: Мф 11:7.

¹⁶ Рус токс, карбо вег, бриония, кали фос — названия гомеопатических средств.

Риверс пожал плечами.

— Восемьдесят семь — почтенный возраст, — ответил он, садясь на свое место.

— Но прожил бы он столько же лет без пилюль?

— Это типичный образец бессмысленного вопроса, — произнес Риверс. — Нам не дано воскресить Генри Маартенса и заставить его заново прожить собственную жизнь без гомеопатии. Поэтому мы никогда не узнаем, есть ли связь между его самолечением и долгожительством. А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. Оттого-то, — добавил он, — и не существует науки истории — ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по сему предмету. Но мы-таки читаем эту чепуху. А как иначе найти способ выбраться из хаоса голых фактов? Разумеется, этот путь плох; тут и спорить нечего.

Однако лучше уж пойти плохим путем, чем заблудиться вовсе.

— Не очень-то утешительный вывод, — отважился заметить я.

— А лучше ничего не придумашь — во всяком случае, на нынешнем этапе. — Риверс на мгновение замолк. — О чем бишь я? — продолжал он другим тоном. — Итак, я скоро привык к астме Генри, привык ко всем ним, ко всей их жизни. До того привык, что через месяц поисков жилья, когда мне наконец подвернулась дешевая и не слишком противная квартирка, они не пожелали меня отпускать.

«Вы к нам приехали, — сказала Кэти, — у нас и оставайтесь». Старушка Бьюла поддержала ее. Тимми тоже; да и Рут, поворчав, присоединилась к ним, хотя ее возраст и характер отнюдь не способствовали проявлению покладистости в какой бы то ни было форме. Даже великий человек спустился на миг из своих заоблачных высей и замолвил за меня словечко. Это решило дело. Я стал жить у них на законных основаниях, извратился в почетного члена семьи Маартенсов. — Риверс ненадолго умолк, потом заговорил вновь: — Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладно. И весьма скоро я сообразил, что Счастливая жизнь у Маартенсов означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью я не испытывал ничего, кроме скованности и хронического чувства вины. А теперь, став членом языческого семейства, я нашел не только счастье, но и добро; совершенно неожиданно я даже обрел религиозное чувство, я впервые понял, что означают все эти слова в Посланиях. Скажем, что такое благодать — я был полон ею под завязку. Обновление духа — я испытывал его постоянно, тогда как единственное, что я чувствовал в пору своей жизни с матушкой, — это мертвящая древность Писания. Или вот Первое к Коринфянам¹⁷, тринадцать! Как насчет веры, надежды, любви? Не хочу хвастаться, но они у меня были. В первую очередь вера. Искупяющая вера во вселенную и в того, кто трудился со мною рядом. Л что до иной веры — до ее простой, лютеранской разновидности, какую моя бедная матушка так долго лелеяла во мне, словно невинность, гордясь тем, что сохранила ее незапятнанной среди всех соблазнов юношества... — Он пожал плечами. Нет ничего проще нуля; а я вдруг обнаружил, что моя простая вера в продолжение последних десяти лет именно нулю и равнялась. В Сент-Луисе я обрел истинное чувство — настоящую веру в настоящее благо и одновременно надежду, переходящую в твердую убежденность, что все и всегда будет прекрасно. А вместе с верой и надеждой ко мне пришла и любовь. Как можно было питать симпатию к человеку вроде Генри — существу столь не от мира сего, что он едва замечал тебя, и такому эгоисту, что он и не желал никого замечать? К подобному типу нельзя испытывать нежность — но я испытывал! Он нравился мне не только по понятным причинам — благодаря своей гениальности, благодаря тому, что работать с ним значило чувствовать, как умнеешь и прозреваешь не по дням, а по часам. Он нравился мне даже вне лаборатории, и именно из-за тех черт, благодаря которым смахивал на какое-то редкостное чудо-юдо. В ту пору любовь

¹⁷ Первое к Коринфянам, тринадцать (Послание апостола Павла) — «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь: но любовь из них больше» (13 : 13).

так переполняла меня, что я влюбился бы в крокодила, в осьминога. Вот мы читаем всякую социологическую чушь, всю эту заумную ахиною разных политологов, — Риверс презрительно и сердито похлопал по корешкам увесистых томов, выстроившихся на седьмой полке. — А ведь есть только одно решение, и выражается оно словом из шести букв¹⁸, таким скабрёзным, что даже маркиз де Сад употреблял его с осторожностью. — Он отдельно проговорил: — Л-Ю-Б-О-В-Ь. А ежели предпочитаешь пристойную расплывчатость мудреных языков: Agape, Caritas, Mahakaruna¹⁹. Тогда я действительно понял, что это такое. Впервые в жизни — да-да, впервые. Только это и омрачало слегка мое неземное блаженство. Ибо если я впервые понял, что значит любить, как же отнестись к прошлым временам, когда мне только казалось, что это я понимаю, как быть с шестнадцатью годами, проведенными в роли единственного мамочкиного утешения?

В наступившей тишине я попытался припомнить миссис Риверс, которая вместе с малышом Джонни иногда приезжала к нам на ферму провести воскресный вечер — лет этак пятьдесят назад. Мне вспомнилось черное одеяние, бледный профиль, словно на камее, какую носила тетя Эстер, улыбка, чья расчетливая ласковость плохо сочеталась с холодным оценивающим взглядом. К портрету прибавилась память о ледящем чувстве страха. «Ну-ка, поцелуй как следует миссис Риверс». Я подчинился, но с какой жуткой неохотой! Из глубин прошлого одиноким пузырьком всплыла фраза, оброненная когда-то тетей Эстер. «Бедная крошка, — сказала тетя, — он прямо-таки преклоняется перед своей мамочкой».

Преклоняться-то он преклонялся. Да только любил ли?

— Есть такое словечко — омораливаньё? — вдруг спросил Риверс.

Я покачал головой.

— Ну так должно быть, — настаивал он. — Потому что именно к этому средству я прибегал в своих письмах домой. Я излагал события; но я постоянно омораливал их. Откровение превращалось у меня в нечто тусклое, обыкновенное, высококонраственное. Почему я остался у Маартенсов? Из чувства долга. Оттого что доктор М. не умеет водить машину, к тому же я могу пособить по мелочам.

Оттого что детишкам не повезло с учителями — двое их наставников никуда не годятся, — а я могу кое-чему подучить их. Оттого что миссис М. была так добра, что я почел себя просто обязанным остаться и хоть чуть-чуть облегчить ее тяжкую долю. Разумеется, я хотел бы жить отдельно; но разве годится ставить свои личные прихоти выше их нужд? А поскольку вопрос этот был обращен к моей матери, ответ, конечно, подразумевался однозначный. Какое лицемерие, какое нагромождение лжи! Но услышать истину было для нее так же невыносимо, как для меня — облечь ее в слова. Ибо вся правда состояла в том, что я никогда не знал счастья, никогда не любил, никогда так легко и бескорыстно не относился к окружающим, пока не покинул родной очаг и не поселился с этими амаликитянами²⁰.

Риверс вздохнул и покачал головой.

— Бедная матушка, — произнес он. — Наверное, мне следовало быть с ней поласковее. Но как бы ласков я ни был, это не могло изменить сути: того, что она любила меня любовью собственности, и того, что я не хотел быть ничьей собственностью; того, что она осталась в одиночестве и потеряла все, и того, что у меня появились новые друзья; того, что она была приверженкой гордого стоицизма, хотя ошибочно считала себя христианкой, и того, что я

¹⁸ ...словом из шести букв... — в оригинале каламбур: эвфемизм four-letter words означает нецензурные слова; в слове love тоже четыре буквы.

¹⁹ Agape, Caritas, Mahakaruna (греч., лат., сакскр.) — синонимы, обозначающие духовную любовь.

²⁰ Амаликитяне — библейский народ, живший к югу от Ханаана, враждебный евреям и истребленный ими; здесь — неверные.

превратился в законченного язычника и, стоило мне забыть ее — а это случилось моментально, лишь только я отправлял в воскресенье еженедельную весточку, — как я становился счастливейшим человеком. Да-да, счастливейшим! В ту пору моя жизнь напоминала эклогу, пересыпанную лирическими строчками. Поэзия была повсюду. Вез ли я Генри на стареньком «максвелле» в лабораторию; подстригал ли лужайку; тащил ли Кэти под дождем всякую всячину из бакалейной лавки — меня окружала настоящая поэзия. Она была со мной и тогда, когда мы с Тимми ходили к станции глазеть на паровозы. И тогда, когда по весне я сопровождал Рут в поисках гусениц. К гусеницам у нее был профессиональный интерес, — пояснил он, увидев мое удивление. — Одна из сторон гробового синдрома. В реальной жизни гусеницы были ближе всего к Эдгару Аллану По.

— К Эдгару Аллану По?

— «Ведь эта трагедия Жизнью зовется, — продекламировал он, — и Червь-победитель — той драмы герой». В мае и июне вся округа прямо кишела Червями-победителями.

— В наше время, — подумал я вслух, — это был бы не По. Теперь она читала бы Спиллейна или какие-нибудь суперсадистские книжонки.

Он кивнул в знак согласия.

— Все что угодно, самое дрянное, лишь бы там хватало смерти. Смерть, — повторил он, — особенно жестокая, особенно вариант с разлагающимися трупами — для детей один из предметов жадного интереса. Тяга к ней почти так же велика, как тяга к куклам, или конфетам, или забавам с половыми органами.

Смерть нужна детям, чтобы испытать особый, отталкивающе-восхитительный трепет. Нет, это не совсем верно. Она, как и все прочее, нужна им для того, чтобы придать особую форму трепету, который в них уже имеется. Помнишь, какими острыми были в детстве твои ощущения, как глубоко ты умел чувствовать? Что за восторг — малина со сливками, что за ужас — пучеглазая рыба, ну а касторка — сущий ад! А какая это мука, когда приходится вставать и отвечать перед всем классом! Какое невыразимое счастье сидеть рядом с кучером, вдыхать запах лошадиного пота и кожи; дорога уходит в бесконечность белой лентой, и кукурузные поля сменяются капустой, а когда проезжаешь мимо, кочны ее медленно распахиваются и складываются, словно огромные веера. В детстве ты полон насыщенным раствором чувства, ты носишь в себе смесь всех переживаний — но в непроявленном виде, в состоянии неопределенности. Иногда причиной кристаллизации служат внешние факторы, иногда — твоя собственная фантазия. Тебе хочется добиться какого-нибудь особенно волнующего ощущения, и ты упорно трудишься сам над собой, пока не добудешь его — ярко-розовый кристалл удовольствия или, к примеру, зеленый с кровавыми потеками ком страха; ведь страх — такое же волнующее переживание, как и прочие, страх — это смешанное с опаской наслаждение. В двенадцать лет я охотно пугал себя ужасами смерти, адом из великопостных проповедей моего невезучего батюшки. А насколько сильнее могла запугать себя Рут! С одной стороны — сильнее запугать, с другой — испытать гораздо более острый восторг. Мне кажется, таковы все девочки. Раствор чувства у них более концентрированный, чем наш, и они умеют скорее добывать большие и лучшие кристаллы самых разнообразных сортов. Не стоит и говорить, что тогда я ничего не смыслил в девочках-подростках. Но общение с Рут послужило богатой школой — даже чересчур богатой, как выяснилось впоследствии; однако до этого мы еще доберемся. В общем, она помаленьку обучала меня тому, что должен знать о девочках каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему, ведь мне привелось стать отцом трех дочерей.

Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время в молчании посасывал трубочку.

— Один уик-энд был особенно информативным, — наконец сказал он, улыбаясь воспоминанию. — Это случилось в первую весну моей жизни с Маартенсами. Мы поехали в их домишко за городом, милях в десяти к западу от Сент-Луиса. После ужина, субботним вечером, мы с Рут отправились смотреть на звезды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда — и перед тобой распахивается небо от края до края. Целых сто

восемьдесят градусов добротной неизъяснимой тайны. Там бы просто сидеть молча. Но в те дни я еще мнил своим долгом развивать собеседника. Поэтому вместо того, чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным путем, я принялся сыпать давно надоевшими фактами и цифрами: тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики, и последнее сообщение о спиралевидных туманностях из Маунт-Вилсона²¹. Рут слушала, но это едва ли способствовало ее развитию; наоборот, она как бы впала в метафизическую панику. Такие пространства, такие сроки, такая уйма недостижимых миров, скрытых за другими далекими мирами! А мы-то, перед лицом вечности и бесконечности, забываем себе головы разговорами и домашними хлопотами, стараемся куда-то поспеть вовремя, выбираем нужного цвета ленты для волос и зубрим алгебру с латинской грамматикой! Потом в рощице за холмом раздался крик совы, и метафизический испуг сменился натуральным, однако с мистическим оттенком; ведь холодок в животе вызвало то обстоятельство, что совы считаются недобрыми птицами, приносящими несчастье, вестницами смерти.

Конечно, она понимала, что все это чепуха; но как здорово прикинуться, что это правда, и вести себя соответственно! Я было начал высмеивать ее; но Рут не желала расставаться с испугом и решительно принялась обосновывать и оправдывать свои страхи. «В прошлом году у одной девочки из нашего класса умерла бабушка, — сказала она. — И как раз той ночью в саду у них кричала сова. Прямо посреди Сент-Луиса, где в жизни не слышали сов». Как бы подтверждая ее слова, опять раздалось далекое уханье. Девчушка вздрогнула и взяла меня за руку. Мы начали спускаться с холма в сторону рощи. "Я бы умерла со страху, если бы пошла одна, — сказала Рут. А потом, чуть погода: — Вы читали «Падение дома Ашеров»²²?" Ясно было, что она хочет рассказать мне эту историю; поэтому я ответил, что не читал. Она стала рассказывать: «Это про брата и сестру по фамилии Ашер, и они жили в таком замке, а перед ним был черный, мрачный пруд, а стенки все в плесени, а брата зовут Родерик, и у него такое большое воображение, что он может сочинять стихи не задумываясь, и он смуглый и привлекательный, и у него очень большие глаза и тонкий еврейский нос, точь-в-точь как у сестры — они близнецы, а ее зовут леди Магдалина, и они оба очень больны такой загадочной нервной болезнью, а у нее бывают приступы каталепсии...» И так далее, пока мы спускались по мураве холма под звездным небом, — отрывки из По, сдобренные жаргоном школьников двадцатых годов. И вот мы выбрались на дорогу, которая вела к темной стене леса. Тем временем бедняжка Магдалина умерла, а юный мистер Ашер слонялся среди гобеленов и плесени в начальной стадии помешательства. И немудрено!

Разве не говорил я, что мои чувства изощрены? — интригующим шепотом спросила Рут. — Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много, много дней тому назад". Тьма вокруг нас стала гуще, и вдруг кроны деревьев сомкнулись над нами, и мы очутились под двойным покровом лесной ночи. То тут, то там в рваных прорехах листвы у нас над головой брезжила тьма посветлее, поглубее, а вставшие по обе стороны тропы стены кое-где зияли таинственными провалами, в которых что-то смутно серело и отблескивало призрачным серебром. А как тянуло здесь мокрой гнилью! Как зябко льнула к щекам холодная сырость! Словно фантазии По обернулись зловещей явью. Похоже было, что мы вступили под своды фамильного склепа Ашеров. «И вдруг, — рассказывала Рут, — вдруг раздался такой металлический лязг, точно на каменный пол уронили щит, но вроде как приглушенный, будто бы он донесся далеко из-под земли, потому

²¹ Маунт-Вилсон — в США, около г. Пасадены, находится Маунт-Вилсоновская астрономическая обсерватория, исследующая физику Солнца, звезд и внегалактических объектов.

²² «Падение дома Ашеров» — рассказ Э.По. Рут пересказывает его, иногда воспроизводя дословно целые фразы.

что, понимаете, под домом был огромный подвал, где хоронили всех из этого рода. А минутой позже она уже стояла в дверях — высокая, закутанная в саван фигура леди Магдалины Ашер. И на ее белых одеждах была кровь, потому что она целую неделю пыталась выбраться из гроба, потому что ее, сами понимаете, похоронили заживо. Живыми ведь часто хоронят, — пояснила Рут. — Из-за этого и советуют написать в завещании: не хороните меня, пока не прижжете мне подошвы докрасна раскаленным железом. Если я не очнусь, тогда порядок, можете начинать хоронить. А с леди Магдалиной так не сделали, а у нее был просто каталептический припадок, и очнулась она уже в гробу. А Родерик слышал ее все эти дни, но почему-то никому про это не сказал. И вот она пришла, вся белая и в крови, и стоит шатается на пороге, а потом она издала ужасный крик и рухнула к нему в объятия, и он тоже закричал, и...» Но тут поблизости, в кустах, раздался громкий треск. Прямо на тропе перед нами вырос во тьме огромный черный силуэт. Рут отчаянно завопила, словно Магдалина и Родерик, вместе взятые. Вцепилась мне в руку и спрятала лицо у меня на плече. Призрак фыркнул. Рут взвизгнула снова. В ответ опять раздалось фыркание, затем удаляющийся стук копыт. «Лошадка заплутала», — сказал я. Но колени у нее подкосились, и если бы я не поддержал ее и не опустил потихоньку на землю, она бы упала. Наступила долгая тишина. "Может, хватит сидеть во прахе²³? — пошутил я. — Давай пойдем дальше". — «А что бы вы сделали, если бы это, правда, было привидение?» — наконец спросила она. «Я бы удрал и не возвращался, пока все не кончится». «Что значит — кончится?» — спросила она.

«Ну ты же знаешь, что бывает с теми, кто увидит привидение, — ответил я. — Они или умирают на месте от страха, или сидят как лунь и сходят с ума». Но она не рассмеялась, как я думал, а обозвала меня чудовищем и ударилась в слезы. Слишком драгоценен был темный сгусток, выпавший в осадок из ее чувственного настоя под влиянием лошади, По и собственной фантазии, чтобы так легко с ним расстаться. Знаешь огромные леденцы на палочке, которые дети лижут целый день напролет? Таким был и ее испуг — забава на целый день; и она намеревалась взять от него все, лизать и лизать, пока не доберется в конце до самого сладкого. Мне понадобилось битых полчаса, чтобы поднять ее на ноги и привести в чувство. Когда мы пришли домой, ей уже давно пора было спать, и она отправилась напрямик в свою комнату. Я боялся, что ее замучают кошмары. Ничего подобного. Спала без задних ног, а утром спустилась к завтраку веселая, как жаворонок. Однако этот жаворонок не забыл По и по-прежнему интересовался червяками. После завтрака мы с нею выбрались на охоту за гусеницами и нашли нечто действительно потрясающее — большую личинку бражника, зеленую, в белых пятнышках, с рогом на конце. Рут ткнула ее палочкой, и бедная тварь в приступе бессильной злобы и страха выгнулась сначала в одну сторону, затем в другую. "Он корчится! корчится!²⁴ — восторженно, нараспев продекламировала Рут, — мерзкою пастью испуганных гаеров алчно грызет, и ангелы плачут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет". Но теперь кристалл страха был не больше камушка на двадцатидолларовом кольце, какие дарят невестам в день помолвки. Картины смерти и разложения, которые она смаковала прошлой ночью ради их собственной горечи, превратились сегодня всего-навсего в приправу, и пряный аромат этой приправы мешался с вкусом жизни, лишь слегка дурманя девчужке голову.

«Мерзкая пасть, — повторила она и снова ткнула зеленого червяка палочкой, — мерзкая пасть...» И в приливе восторга запела изо всей мочи: «Если б ты была единственной на свете...» Между прочим, — прибавил Риверс, — знаменательно, что всякая крупная резня в качестве побочного эффекта сопровождается этой гнусной песенкой. Ее придумали в

²³ Может, хватит сидеть во прахе? — ср. Книга Иова, 7 : 21: «...ибо, вот, я лягу в прахе завтра поищешь меня, и меня нет».

²⁴ Он корчится! корчится!.. — Рут не совсем точно цитирует строки из «Червя-победителя».

Первую мировую войну; вспомнили во время Второй мировой и распевали с перерывами, пока шла бойня в Корее. Прилив сентиментальности совпадает с расцветом макиавеллистской политики силы и разгулом жестокости. Стоит ли быть за это благодарным? Или это должно лишь повергать в отчаянье, когда думаешь о человечестве? Ей-богу, не знаю — а ты?

Я покачал головой.

— Ну так вот, — продолжал рассказывать он, — Рут запела «Если б ты была единственной на свете», потом, вместо следующей строчки: «А я был бы мерзкая пасть», — затем оборвала песню и внезапным прыжком попыталась поймать Грампуса — кокер-спаниеля, но он увернулся и со всех ног помчался через луг, а Рут в азарте преследовала его по пятам. Я пошел за ними не торопясь и нагнал у небольшого холмика: Рут взобралась на него, а Грампус тяжело дышал у ее ног. Дул ветер, она стояла лицом к нему, словно статуэтка Победы Самофракийской: волосы сдуло назад, маленькое зарумянившееся личико обнажилось, короткую юбочку трепало, как знамя, а блузка под порывами ветра плотно облегла спереди худенькое тельце, еще не оформившееся, совсем мальчишечье. Глаза у нее были закрыты, губы беззвучно шевелились, точно в молитве или заклинании. Когда я подошел, пес повернул голову и завилчал обрубком хвоста; но Рут так глубоко погрузилась в транс, что не слыхала моих шагов. Потревожить ее было бы кощунством; поэтому я остановился чуть поодаль и тихо присел на траву. Вскоре я увидел, как губы ее разомкнулись в блаженной улыбке, а лицо словно засияло внутренним светом. Вдруг это выражение пропало; она тихо вскрикнула, открыла глаза и испуганно, ошеломленно огляделась кругом. «Джон! — радостно окликнула она, увидев меня, потом подбежала и опустилась рядом на колени. — Как хорошо, что вы здесь, — сказала она. — И Грампущка... Я уж думала... — Она замолкла и коснулась указательным пальцем кончика носа, губ, подбородка. — У меня все на месте?» — спросила она, «На месте, — подтвердил я: — Может, даже слишком». Она засмеялась, и то был скорее смех облегчения, нежели радости. «Меня чуть не унесло», — призналась она. «Куда?» — спросил я. «Не знаю, — она покачала головой. — Этот ветрюга. Дует и дует. Все у меня из головы выдул — и вас, и Грампуса, и всех остальных, всех домашних, все школьные дела и все-все, что я знала, о чем думала когда-нибудь. Все выдул, ничегошеньки не осталось — только ветер и ощущение, что живу. И оно тоже потихоньку улетучивалось, как и остальное. Дай я ему волю, этому и конца не было бы. Я бы полетела над горами и над океаном, наверное, прямо в одну из тех черных дыр между звездами, на которые мы смотрели вчера вечером. — Она содрогнулась. — Как вы думаете, я могла умереть? — спросила она. — Или впасть в летаргию, и решили бы, что я мертвая, а потом я бы проснулась в гробу». Мысли ее опять были заняты Эдгаром Алланом По. На следующий день она показала мне очередные жалкие вирши, в коих все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к набившим оскомину гробницам и зарницам, ее любимому набору. Какая пропасть между впечатлением и запечатлением! Такова наша жалкая доля — чувствовать подобно Шекспиру, а писать о своих чувствах (конечно, если тебе не выпадет один шанс на миллион — быть Шекспиром), словно агенты по продаже автомобилей, или желторотые юнцы, или школьные учителя. Мы вроде алхимиков наоборот — одним прикосновеньем превращаем золото в свинец; касаемся чистой лирики своих переживаний, и она превращается в словесный мусор, в труху.

— Может, ты напрасно так идеализируешь наши переживания? — спросил я. — Разве это непременно чистое золото и чистая поэзия?

— Внутри золото, — подтвердил Риверс. — Поэзия по сути своей. Но, разумеется, если как следует погрязнуть в трухе и мусоре, который вываливают на нас глашатаи общественного мнения, станешь с самого начала исподволь загаживать свои впечатления; станешь пересоздавать мир в свете собственных понятий — а твои понятия, конечно же, суть чьи-нибудь еще; так что мир, в котором ты живешь, сведется к Наименьшим Общим Знаменателям твоей культурной среды. Но первичная поэзия никогда не исчезает. Никогда, — уверенно заключил он.

— Даже в старости?
— Даже и в старости. Конечно, если не потеряешь умения возвращать утраченную чистоту.

— Что ж, удается тебе это, позволь узнать?

— Хочешь верь, хочешь нет, — ответил Риверс, — но порой удается. Или, быть может, вернее сказать, что порой это на меня находит. Например, вчера, когда я играл со своим внуком. Всякую минуту — превращение свинца в золото, напыщенной менторской трухи в поэзию, такую же поэзию, какой была вся моя жизнь у Маартенсов. Каждое ее мгновение.

— И в лаборатории тоже?

— Это были как раз одни из лучших мгновений, — ответил он мне. — Мгновенья за письменным столом, мгновенья, когда я возился с экспериментальными установками, мгновенья споров и дискуссий. Все это была идиллическая поэзия чистой воды, словно у Феокрита или Вергилия. Четверка молодых докторов философии в роли начинающих пастушков и Генри — умудренный опытом патриарх; обучая юнцов тонкостям своего дела, он рассыпав перлы мудрости, пряд бесконечную пряжу историй о новом пантеоне теоретической физики. Он ударял по струнам лиры и заводил сказ о превращении косной Массы в божественную Энергию. Он воспевал безнадежную любовь Электрона к своему Ядру. Под наигрыш его дудочки мы узнавали о Квантах и постигали смутные намеки на тайны Неопределенности. Да, это была идиллия. Вспомни, ведь в те годы можно было работать физиком и не чувствовать за собой вины; в те годы ученые еще могли верить, что трудятся к вящей славе Господней. А теперь не удастся прибегнуть даже к утешительному самообману. Тебе платит Военно-морской флот, за тобой следит ФБР. Они ни на минуту не дают забыть, что от тебя требуется. *Ad majorem Dei gloriā*²⁵? Как бы не так! *Ad majorem hominis degradationem*²⁶ — вот во имя чего ты работаешь. Но в двадцать первом году было еще далеко до адских машин. В двадцать первом мы еще были горсткой невинных простачков в духе Феокрита и наслаждались упоительным нектаром чистого научного поиска. А когда приходил конец радостям труда, я вез Генри домой на «максвелле», и там меня ожидали радости другого рода. Иногда это был Тимми, который размышлял над правилом тройки²⁷. Иногда Рут, которая просто не могла поверить, что квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов. В данном случае пускай, тут она готова была согласиться. Но почему в каждом? Они шли за помощью к отцу. Однако Генри так долго вращался в сферах Высшей Математики, что забыл, как решать школьные задачи; а Евклид интересовал его лишь постольку, поскольку его геометрия служила классическим примером системы, имеющей в основе порочный круг. После недолгих путаных объяснений великий человек утомлялся и потихоньку покидал нас, предоставляя мне разбираться с Тимминой задачей методом чуть попроще, чем векторный анализ, разрешать сомнения Рут путем, не столь явно подрывающим веру в рациональность мира, как теории Гильберта или Пуанкаре. А потом, за ужином, была шумная радость детской болтовни — ребята рассказывали матери о том, что нынче случилось в школе; кошунственная радость наблюдать, как Кэти вклинивается в монолог об общей теории относительности, чтобы попенять Генри, опять позабывшему забрать из прачечной свои фланелевые кальсоны; плантаторская радость выслушивать комментарии Бьюлы или эпическая радость внимать ее подробным,

²⁵ *Ad majorem Dei gloriā* — К вящей славе Господней (лат.) — девиз иезуитов, оправдывающий преступления, творимые во имя Божье.

²⁶ *Ad majorem hominis degradationem* — К вящей деградации человеческой (лат.)

²⁷ Правило тройки — математическое правило, согласно которому произведение средних членов пропорции равно произведению крайних ее членов; используется для нахождения четвертого, неизвестного члена пропорции, когда заданы три остальных.

натуралистическим описаниям забоя свиней в былые времена. А еще позже, когда дети ложились спать, а Генри уединялся наверху, в своем кабинете, меня ожидала главная радость — этой радостью были вечера с Кэти. — Риверс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.

— У меня незавидная зрительная память, — после краткой паузы произнес он. — Но обои, это уж точно, были розовые с коричневатым оттенком. А абажур наверняка красный. Да, он непременно должен был быть красным, потому что лицо ее так тепло сверилось, когда она штопала у лампы наши носки или пришивала детям пуговицы. Красный отблеск падал ей на лицо, но не на руки.

Руки работали на ярком, незатененном свете. Какие сильные руки! — добавил он, улыбаясь воспоминанию. — Какие умелые руки! Это тебе не вялые лилейные придатки благородных девиц! Настоящие руки, которые чудесно управлялись с отверткой; руки, которые умели починить любую вещь; руки, которые могли сделать хороший массаж, а если надо, то и отшлепать; руки, которые не имели себе равных в изготовлении домашнего печенья и не брезговали опорожнить помойное ведро. И вся она была под стать своим рукам. Ее тело — это было крепкое тело замужней женщины. Женщины с лицом цветущей девушки-селянки.

Нет, не совсем так. У нее было лицо богини в облике цветущей девушки-селянки. Возможно, Деметры. Нет, Деметра слишком печальна. И Афродита не годится: в женственности Кэти не было ничего подавляющего или рокового, ничего вызывающе-сексуального. Если уж тут замешалась богиня, скорее всего, это Гера. Гера в образе деревенской пастушки — но пастушки с головой, пастушки с колледжем за плечами. — Риверс открыл глаза и вновь поднес ко рту трубку. Он все еще улыбался. — Я помню кое-какие ее замечания о книгах, которые я читывал вслух вечерами. Например, о Г. Дж. Уэллсе. Он напоминал ей рисовые поля в ее родной Калифорнии. Акры и акры сверкающей воды, но глубина нигде не больше двух дюймов. Или все эти леди и джентльмены из романов Генри Джеймса; она гадала, как им удавалось заставить себя сходить в уборную. И Д. Г. Лоуренс. До чего любила она его ранние книги! Всем ученым надо пройти специальные курсы по Лоуренсу, чтобы завершить образование. Как-то раз она сказала это на званом обеде одному ректору. Он был весьма знаменитый химик; и не знаю уж, *post hoc* или *propter hoc*²⁸, но жена его прямо-таки источала всеми порами концентрированную уксусную кислоту.

Замечания Кэти далеко не всегда вызывали восторг. — Риверс издал короткий смешок. — А порою мы обходились без книжек: просто болтали, — продолжал он.

— Кэти рассказывала мне о своем детстве в Сан-Франциско. О балах и вечеринках, где она перебивала, выйдя в свет. О трех юношах, влюбленных в нее без памяти, — один богаче другого и, если это возможно, каждый глупее предыдущего. В девятнадцать лет она была помолвлена с самым богатым и самым безмозглым. Купили приданое, начали приходить подарки к свадьбе. И тут в университет Беркли приехал по приглашению Генри Маартенс. Она попала на его лекцию о философии науки, а после лекции — на званый вечер, устроенный в его честь. Их познакомили. У него был орлиный нос, светлые, как у сиамского кота, глаза; он походил на сошедшего с портрета Паскаля, а его смех — на грохот тонны угля, когда ее вываливают в железный желоб. А то, что увидел он, почти превосходит воображение. В пору нашего знакомства Кэти исполнилось тридцать шесть, и она напоминала Геру. Девятнадцатилетней она, верно, сочетала в себе красоту Гебы, трех граций и всех Дианиных нимф, вместе взятых. А Генри, вспомни-ка, только что развелся с первой женой. Бедняжка!

Она просто не нашла в себе сил справиться со всеми навязанными ей ролями: утолять страсть ненасытного супруга, ведать делами рассеянного чудака, быть секретаршей гения и

²⁸ ...*post hoc* или *propter hoc*... — после этого или вследствие этого (лат.) — Имеется в виду латинская формула *post hoc, ergo propter hoc* (после этого, значит вследствие этого), применявшаяся в схоластических прениях для обозначения неправильного вывода из случайной последовательности событий.

утробой, плацентой для поддержания жизнедеятельности некоего психологического эмбриона. После двух аборт и нервного расстройства она собрала вещички и уехала к матери. Генри был выбит из колеи во всех своих амплуа — эмбриона, гения, чудака и любострастника — и искал женщину, способную выжить в симбиозе, где ей пришлось бы стать исключительно дающей стороной, а ему самому — по-детски жадно и эгоистично берущей. Поиски шли уже чуть ли не целый год. Генри потихоньку отчаивался. И вдруг, точно по воле судьбы, появилась Кэти. Это была любовь с первого взгляда. Он загнал ее в угол и, позабыв обо всех остальных, завел с ней беседу. Не стоит и пояснять, что ему даже не пришло в голову, будто у нее могут быть собственные интересы и проблемы, он и не пытался заставить девушку разговориться. Он просто набросился на нее и выложил то, что в данный момент занимало его мысли. Это оказались последние достижения в области логики.

Кэти, разумеется, не поняла ни слова; но его гениальность была столь очевидна, все это было до того поразительно, что прямо на месте, прежде чем вечер кончился, она подбила мать пригласить его на обед. Он пришел, завершил начатый накануне монолог и, поскольку миссис Хэнбери и прочие гости играли в бридж, углубился с Кэти в проблемы семиотики. Три дня спустя Одюбоновское общество²⁹ устроило пикничок, и они вдвоем уединились от остальной компании в каком-то овраге. И, наконец, однажды вечером отправились на «Травиату».

Рам-там-там-ТАМ-ти-там, — Риверс напел тему прелюдии к третьему акту. — Тут уж не устоишь. Еще никому не удавалось. В кэбе, по дороге домой, он поцеловал ее весьма пылко и в то же время тактично, со знанием дела, к чему она была совершенно не готова после семиотики и прочих чудачеств. Теперь уже не осталось сомнений, что миляга Рэндольф помолвлен с нею по ошибке. Ну и переполох поднялся, когда она объявила, что намерена стать миссис Генри Маартенс! Какой-то полоумный профессор; за душой одно только жалованье, да к тому же разведенный, а по возрасту в отцы ей годится. Но все их возражения были абсолютно бесполезны. Их перетягивало единственное обстоятельство — то, что Генри принадлежал к другому виду, и именно этот вид, а не Рэндольфов — *homo sapiens*, а не *homo monicus*, — теперь представлял для нее интерес.

Через три недели после землетрясения они поженились. Жалела ли она когда-нибудь о своем миллионере? Это о Рэндольфе-то? Ответом на сей удивительно нелепый вопрос был искренний смех. Но вот его лошади, добавила она, вытирая слезы, лошади — дело другое. У него были арабские скакуны, а быки на ранчо — чистокровные херефорды, а за домом, там же, на ранчо — большой пруд, где плавали всевозможнейшие, божественной красоты утки и гуси.

Самое плохое в участи жены бедного профессора, живущего в большом городе, — это полная невозможность улизнуть от людей. Конечно, среди них много прекрасных личностей, умниц. Но душе мало одних людей, ей нужны лошади, нужны поросята и водоплавающие. Рэндольф обеспечил бы ее любым зверьем, какого душа пожелает; однако непременно довеском был бы он сам. Она пожертвовала животными и выбрала гения — гения со всеми его недостатками. И, честно говоря, признала она со смехом (она говорила об этом отстраненно, с юмором), честно говоря, недостатков хватало. В своем роде, хотя и по совершенно иным причинам, Генри обнаруживал не меньшую тупость, чем сам Рэндольф. Круглый идиот там, где дело касается человеческих отношений, первостатейный осел в практической жизни. Но какой оригинальный осел, какой вдохновенный идиот! Генри мог быть абсолютно невыносимым; но это всегда окупалось. Всегда! И, возможно, добавила она в качестве комплимента, возможно, когда я женюсь, моя жена найдет основания сказать то же самое.

Невыносим, но стоит того.

²⁹ Одюбоновское общество — ученое общество, названное в честь американского орнитолога Дж.Дж.Одюбона (1785-1851).

— А мне почудилось, ты говорил, что в ней не было подчеркнутой сексуальности, — заметил я.

— Правильно, — ответил он. — Ты думаешь, она закидывала крючок с наживкой из лесты? Нет. Она просто констатировала факт. У меня имелись свои достоинства, но я тоже был невыносим. Двадцать лет, в течение которых мне забивали голову мертвыми знаниями, и жизнь с матушкой превратили меня в настоящее чудовище. — Загибая пальцы на левой руке, он перечислил свои отрицательные черты. — Я был напичканный теориями простофиля; я был здоровый парень, не способный даже девчонке подмигнуть; я был занудой и втайне завидовал людям, чьего поведения не одобрял. И все-таки, несмотря ни на что, со мной можно было ладить. Я никогда ни на кого не держал зла.

— Ну, тут-то, сдается мне, об этом и речи не шло. Влюблен в нее был, наверное? — спросил я.

Наступило краткое молчание; затем Риверс спокойно кивнул.

— Ужасно, — сказал он.

— Но ты же не умел подмигивать.

— А это тебе не девчонка, — ответил он. — Это была жена Генри Маартенса. Какие уж тут подмигиванья. К тому же я состоял почетным членом семьи Маартенсов, и это превращало ее в мою почетную мать. Да не только в моральных принципах дело. У меня просто не возникало охоты подмигивать. Моя любовь была метафизической, едва ли не святой: так Данте любил Беатриче, так Петрарка любил Лауру. Правда, с небольшой разницей. В моем случае наблюдалась полная искренность. Я жил идеализмом. Никаких незаконнорожденных петрарчат. Никакой миссис Алигьери и никаких потаскушек вроде тех, к кому вынужден был прибегать Данте. Страсть сочеталась у меня с целомудрием — и то и другое в невероятной степени. Страсть и целомудрие, — повторил он и покачал головой. — К шестидесяти годам успеваешь позабыть, что это значит.

Теперь я понимаю только слово, пришедшее им на смену, — равнодушие. *Io sono Beatrice*, — процитировал он. — Все суета, кроме Елены. Что ж? В преклонном возрасте тоже есть о чем поразмыслить.

Риверс притих; и вдруг, словно подтверждая его слова, в тишине отчетливо раздалось тиканье часов на каминной полке да потрескиванье дров, по которым пробегали языки пламени.

— Разве может человек всерьез верить в свою неизменную индивидуальность? — снова заговорил он. — В логике А равно А. Но в жизни — извините. Между мною нынешним и мною прежним громадное различие. Вот я вспоминаю Джона Риверса, влюбленного в Кэти. И вижу будто куколок на сцене, словно смотрю «Ромео и Джульетту» в перевернутый бинокль. Даже не так: словно смотрю в перевернутый бинокль на призраки Ромео и Джульетты. И Ромео, когда-то носивший имя Джона Риверса, был влюблен и чувствовал в себе, наверное, десятикратный прилив энергии и жизненных сил. А мир вокруг него — этот чудесно преображенный мир!

Я помню, как он любовался природой; все цвета были, несомненно, более яркими, очертанья предметов складывались в неописуемо прекрасные узоры. Я помню, как он глядел по сторонам на улице, и Сент-Луис, хочешь верь, хочешь нет, был самым славным городком на свете. Люди, дома, деревья, «форды» модели Т, псы у фонарных столбов — все было полно смысла. Какого, спросишь ты? Да своего собственного. Это была реальность, а не скопище символов. Гете совершенно не прав. *Alles Verg ngliche ist ein Gleichnis?* Отнюдь нет! Каждая преходящая мелочь в каждый момент запечатлевает себя в вечности именно таковою. Смысл ее заключен в ее собственном бытии, а бытие это (что яснее ясного любому влюбленному) как раз и является Бытием с самой-пресамой Большой Буквы. За что ты любишь любимую? За то, что она есть. Собственно говоря, так ведь определяет себя Бог: Я есмь Сущий³⁰. Женщина есть сущая. И доля ее сущности переливается через край,

³⁰ Я есмь Сущий — ответ Бога Моисею (Исх 3 : 14).

преображая вселенную. Тогда предметы и события — уже не просто представители классов, они обретают уникальность; это уже не иллюстрации к абстрактным именам, а конкретные вещи. Затем твоя любовь проходит, и вселенная с явственно различимым издевательским скрипом возвращается в прежнее бессмысленное состояние.

Нельзя ли удержать ее от этого? Может быть. Наверное, тут нужна любовь к Богу. Однако, — добавил Риверс, — это уже из другой оперы. Возьмись мы толковать об этом, все наши уважаемые друзья станут издеваться над нами, а то и упекут в психушку. Так что давай-ка лучше вернемся обратно, прочь от этой опасной перспективы. Обратно к Кэти, обратно к тем последним незабвенным...

Он оборвал речь.

— Ты ничего не слышишь?

Теперь и я отчетливо различил какие-то звуки. Это был приглушенный расстоянием и сдерживаемый героическими усилиями плач ребенка.

Риверс поднялся, сунул трубку в карман, подошел к двери и открыл ее.

— Бимбо? — вопросительно окликнул он, а потом пробормотал себе под нос:

— Как же он, чудачина, выбрался из своей кровати?

В ответ послышались более громкие рыдания. Джон вышел в прихожую, и мгновение спустя раздались его тяжелые шаги на лестнице.

— Бимбо, — услышал я, — дружище Бимбо! Решил изловить Санта Клауса с полничным — так, что ли?

Плач взметнулся до трагически высокой ноты. Я встал и отправился наверх следом за хозяином. Риверс сидел на последней ступеньке, обняв гигантскими ручищами, высовывающимися из грубых шерстяных рукавов, крохотную фигурку в голубой пижаме.

— Это же дед, — повторял он. — Смешной старый дед. Бимбо с дедом друзья, верно? — Рыдания понемногу утихали. — А почему Бимбо проснулся? — спросил Риверс. — Почему вылез из кровати?

— Собака, — произнес малыш и, вспомнив свой сон, заплакал опять. — Большая собака.

— Собаки — они смешные, — уверил его Риверс. — Собаки такие глупые, что ничего не могут сказать, кроме гав-гав. Подумай, сколько всего может сказать Бимбо. Мама. Пи-пи. Папа. Киска. Собаки не такие умные. Ничего не умеют.

Только гав-гав. — Он залаял ищейкой. — Или тья-тья. — На сей раз это был комнатный шпиц. — Или вау-у-у! — Он взвыл забавно и жалобно. Малыш неуверенно, вперемешку со всхлипами засмеялся. — Вот и ладушки, — сказал Риверс. — Бимбо знай себе смеется над этими глупыми собаками. Только увидит какую-нибудь, только услышит ее дурацкое гавканье, и ну смеяться, ну заливаться! — Тут ребенок рассмеялся уже от души. — А теперь, — сказал Риверс, — Бимбо с дедом пойдут на прогулку. — По-прежнему держа ребенка в объятиях, он встал и побрел по коридору. — Здесь живет дед, — сказал он, раскрывая первую дверь. — Боюсь, что у меня мало интересного. — Следующая дверь была приоткрыта; он пошел внутрь. — А тут живут папа и мама. А вот шкаф, и в нем вся мамина одежда. Хорошо пахнет, правда? — Он громко потянул носом. Малыш последовал его примеру. — «Le Shocking de Schiaparelli», — продолжал Риверс. — Или «Femme»?³¹ Все равно, цель одна; секс, секс и секс — вот на чем держится мир, и, как мне ни жаль, бедняга Бимбо, очень скоро тебе предстоит убедиться в этом самому. — Он нежно потерся щекой о светлые шелковистые волосики мальчугана, затем подошел к большому, в полный рост, зеркалу на двери ванной. — Взгляни-ка на нас, — позвал он меня. — Нет, ты только глянь!

Я приблизился и стал рядом. Мы отражались в зеркале — двое согбенных, поникших стариков, а на руках у одного из них — маленькое, божественно-прекрасное дитя.

³¹ «Le Shocking de Schiaparelli», «Femme» — марки французских духов.

— Подумать только, — сказал Риверс, — подумать только, что когда-то все мы были такими. Сначала ты — кусок протоплазмы, годный лишь на то, чтобы поглощать и перерабатывать пищу. Потом из тебя получается вот такое существо. Почти сверхъестественно чистое и прекрасное. — Он снова прижался щекой к детской головке. — Дальше наступает противная пора прыщей и обретения половой зрелости. Потом, после двадцатилетнего рубежа, на пару лет становишься Праксителем. Но у Праксителя вскоре появляется брюшко, начинают редеть волосы, и последующие сорок лет деградации постепенно превращают венец творенья в ту или иную разновидность человека-гориллы. Ты, например, — горилла субтильная. Я — красномордая. А бывает еще разновидность гориллы под названием «преуспевающий бизнесмен» — ее представители похожи на детскую задницу со вставными зубами. А уж гориллы-самки, жалкие старухи с наруганными щеками и орхидеей на груди... Нет, давай не будем о них говорить, даже думать не будем.

Малыш зевнул под наши рассуждения, потом отвернулся, устроился головой на плече деда вместо подушки и смежил глаза.

— Наверное, его уже можно укладывать в кровать, — прошептал Риверс и направился к двери.

— Очень часто, — проговорил он несколько минут спустя, когда мы уже смотрели сверху вниз на это маленькое личико, благодаря сну принявшее выражение неземной безмятежности, — очень часто мне бывает страшно жаль их.

Они не ведают, что их ждет. Семьдесят лет подвохов и предательств, ловушек и обмана.

— И еще удовольствий, — вставил я. — Удовольствий, иногда переходящих в экстаз.

— Ну да, — согласился Риверс, отходя от кровати. — Они-то и заманивают в ловушки. — Он потушил свет, мягко прикрыл дверь и стал спускаться за мной по лестнице. — Целый набор удовольствий. Секс, еда, сила, комфорт, власть, жестокость — вот их источники. Но в наживке всегда есть крючок; а не то, соблаздившись ею, ненароком дергаешь за веревочку, и на тебя падают кирпичи, выливается ведро птичьего клея или что там еще припасет для тебя космический шутник. — Мы вновь заняли свои места по обе стороны камина в библиотеке. — Какие ловушки уготованы беззащитному, маленькому прекрасному созданию, спящему наверху в кровати? Ужасно тяжело думать об этом.

Единственным утешеньем может служить неведение до происшедшего и забвение — или, на худой конец, равнодушие — после. Любая сцена на балконе становится уделом карликов из другого мира! И венчает все, разумеется, смерть. А пока есть смерть, есть надежда³². — Он снова наполнил наши бокалы и раскурил трубку. — Где я остановился?

— На седьмом небе, — ответил я, — у миссис Маартенс.

— На седьмом небе, — повторил Риверс. И мгновение спустя заговорил вновь: — Это продолжалось пятнадцать месяцев. С декабря до второй весны, если не считать десятидневного перерыва, когда все семейство ездило в Мэн.

Эти десять недель каникул, проведенных на родине, несмотря на привычную обстановку, на старания бедной матушки, превратились для меня вместо отдыха в пытку изгнанника. И я скучат не только по Кэти. Мне недоставало всех их:

Бьюлы на кухне, Тимми с его поездками на полу, Рут и ее нелепых стихов, Генри с его астмой, с его лабораторией и удивительными монологами обо всем на свете. Каким блаженством было вернуться в этот рай в сентябре! Осенний Эдем, когда кружились листья, небо еще синело, золотые лучи солнца сменялись серебряными. Потом Эдем зимний, Эдем зажженных фонарей и дождя за окном, голых деревьев, вычерченных иероглифами на фоне заката. А потом наступила вторая весна, и пришла телеграмма из Чикаго. Заболела мать Кэти. Нефрит — причем до сульфамидов, до пенициллина оставались уже считанные дни.

³² А пока есть смерть, есть надежда — перефразировка латинского изречения «*Dum spiro, spero*» («Пока дышу, надеюсь»).

Кэти мигом собралась и как раз поспела к следующему поезду. Двое детей — трое, считая Генри, — остались на нашем с Бьюлой попечении. С Тимми у нас не было абсолютно никаких хлопот. Но прочие, скажу я тебе, с лихвой компенсировали его благоразумие. Поэтесса перестала есть пудинг на завтрак, не утруждала себя причесыванием, игнорировала домашние задания. Нобелевский лауреат поздно вставал по утрам, проваливал лекции, никуда не успевал вовремя. Были и другие выходки, посерьезнее. Рут расколошматила свинью-копилку и просадила годовые сбережения на набор косметики и флакон дешевых духов. На следующий день после отъезда Кэти видом и запахом она напоминала Вавилонскую блудницу³³.

— Это в честь Червя-победителя?

— С червями было покончено, — ответил он. — Но устарел, подобно песенкам «Взгляни туда» или «Оркестрик Александера». Она зачитывалась Суинбериом, она только что открыла стихи Оскара Уайльда. Мир переменялся, да и сама она стала другой — другой поэтессой с полностью обновленным лексиконом... Сладость греха; яшмовые коготки; биенье алых жил; соблазны и цветы порока; ну, и уста, разумеется, — уста, впившиеся в уста, жестокие укусы, пока пена на губах не обретет вкуса крови, — короче, вся эта юношеская безвкусица поздневикторианского бунта³⁴. А в случае с Рут новая лексика сопровождалась новыми обстоятельствами. Она уже не была мальчуганом в юбке и с косичками; это была расцветающая женщина, которая обходилась с наметившейся у нее грудью так осторожно, точно ей доверили двух чрезвычайно редких, но весьма опасных и требующих бережного обращения зверьков. Можно было заметить, что они являлись источником гордости, смешанной со стыдом, приятных переживаний, а значит, и растущего чувства вины. До чего все-таки груб наш язык! Если умалчиваешь о физиологической стороне эмоций, грешешь против фактов. А если говоришь о ней, это выглядит как желание прикинуться пошляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, нежность, или восхищение, или романтическое обожание — любовь всегда сопровождается какими-то процессами в нервных окончаниях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто умалчивает об этом, — лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратника. Тут, конечно, сказывается несовершенство нашей жизненной философии; а наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает. Одна из абстракций «хороша», а другая «плоха». Не судите, да не судимы будете. Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов — вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений.

Духовно-слизистый, к примеру, или дерматолобость. А чем плохо, скажем, сосцетическое? Или нутромудрость? Если, конечно, лишить их скабресной невразумительности научных терминов и перевести в ранг каждодневно употребляемых в разговоре, а то и в лирической поэзии. Как сложно, не имея этих несуществующих слов, описать даже то, что происходило с Рут, хотя это тик просто и понятно! Лучшее, что здесь можно придумать, — это барахтаться в метафорах. Есть насыщенный раствор чувств, и причина его кристаллизации может возникнуть как внутри, так и вовне. Слова и события падают в эту психофизическую болтушку, и в ней образуются сгустки эмоций и переживаний, зовущие к действию. Потом развиваются железы, что приводит к появлению тех самых очаровательных маленьких зверьков, которыми ребенок так гордится и которые так стесняют его. Раствор чувств обогащен новым типом ощущений, они проникают от сосков, через кожу и нервные окончания в душу, в подсознательное, в сверхсознательное, в область духа. И эти новые очаги душевного напряжения личности как бы сообщают раствору

³³ Вавилонская блудница — образ из Откровения Иоанна Богослова (17 : 4-5).

³⁴ Поздневикторианский бунт — новые художественные течения конца XIX в.

чувства движение, заставляют его течь в определенном направлении — к абсолютно неизведанной, полной загадок сфере любви. Волею случая в этот текущий к любви поток чувства попадают разные центры кристаллизации — слова, события, пример других людей, собственные фантазии и картины из прошлого, — тут замешаны все бесчисленные изобретения, при помощи коих парки ткнут нить неповторимой человеческой судьбы. Рут не повезло — она сменила По на Эджертона и Оскара, «Червя-победителя» — на "Долорес"³⁵ и «Саломею». Сия новая литература вкупе с параллельно произошедшими физиологическими изменениями, точно неумолимый рок, заставила бедное дитя залепить рот губной помадой и выполоскать комбинации в дешевых духах с поддельным запахом фиалки. Но это еще цветочки.

— Что, впереди была поддельная амбра?

— Куда хуже — поддельная любовь. Она втемяшила себе в голову, будто страстно, по-суинберновски влюблена; и в кого же — в меня!

— Она что, не могла выбрать кого-нибудь помоложе?

— Пробовала, — ответил Риверс, — да не вышло. Мне поведала эту историю Бьюла, которой она доверилась. Короткий и трагический рассказ о пламенной любви пятнадцатилетней девочки к непобедимому юному футболисту и гордости школы, герою семнадцати лет. Она-то выбрала помоложе; но, к несчастью, в эту пору жизни два года представляют собой почти непреодолимую пропасть. Юного героя интересовали только достигшие той же степени зрелости — восемнадцатилетние, семнадцатилетние, на худой конец — хорошо развитые шестнадцатилетние. Маленькой худенькой пятнадцатилетней девчонке вроде Рут рассчитывать было не на что. Она оказалась в положении викторианской девицы низкого происхождения, безнадежно сохнувшей по герцогу. Долгое время юный герой вообще не замечал ее; а когда она все-таки заставила себя заметить, он воспринял это как забаву, а кончил грубостью. Вот тогда-то она и начала уверять себя, что влюблена в меня.

— Но если семнадцатилетний оказался недостижимо возмужалым, почему она переключилась на двадцативосьмилетнего? Почему не на шестнадцатилетнего?

— Тому было несколько причин. Ее отвергли публично, и выбери она вместо футболиста какого-нибудь прыщавого мальчишку, подружки в глаза выражали бы ей сочувствие, а за глаза смеялись бы над нею. Поэтому другой школьник на роль возлюбленного не годился. Но у нее не было знакомых молодых людей, кроме ребят из школы и меня. Выбора не оставалось. Коли уж ей приспичило влюбиться — к этому подталкивали произошедшие в ней физиологические изменения, а ее новый словарь превратил любовь прямо-таки в категорический императив³⁶, — то объектом должен был стать я. Собственно говоря, началось это еще за несколько недель до отъезда Кэти в Чикаго. Я подметил кое-какие предварительные симптомы — она краснела, погружалась в молчание, неожиданно и без причины выходила из комнаты посреди разговора, ревниво мрачнела, если ей чудилось, что и предпочитаю общаться не с ней, а с матерью. А еще были, конечно, любовные стихи, которые она упорно продолжала мне показывать, несмотря на взаимную неловкость. Розы и слезы. Ласки и маски. Страданья и желанья. Грудь, жуть, прильнуть, вздохнуть. Пока я читал, она напряженно следила за мною, и это не было обычным беспокойством новички стихоплета, ожидающего трезвой критики; это был влажный, выразительный, затуманенный взор преданного спаниеля, Магдалины на картине времен Контрреформации, жертвы, с готовностью распростершейся у ног своего синевородого властелина.

³⁵ «Долорес» — стихотворение Ч.Э.Суинберна, «Саломея» — драма О.Уайльда.

³⁶ Категорический императив — центральное философское понятие в этике И.Канта, безусловное общеобязательное правило поведения.

Это страшно действовало мне на нервы, и я иногда подумывал, не лучше ли будет всем нам, если я открою Кэти, что происходит. Но в таком случае, размышлял я, если мои подозрения необоснованны, я окажусь в дурацком положении; если же они верны, у бедняжки Рут могут быть неприятности. Лучше уж помалкивать и ждать, пока ее глупое увлечение пройдет само собой. Лучше продолжать делать вид, будто литературные опусы не имеют ничего общего с действительностью и чувствами автора. Так все и развивалось — подспудно, словно движение Сопrotивления, словно Пятая колонна, — пока не уехала мать.

Возвращаясь с вокзала домой, я тревожно думал, что же случится теперь, когда исчез сдерживающий фактор — присутствие Кэти. Ответ был получен на следующее утро — нарумяненные щеки, губы цвета переспелой клубники и эти духи, этот аромат дешевого притона! — И соответствующее поведение?

— Я, конечно, ожидал этого. Но, как ни странно, на первых порах ничего не произошло. По-видимому, Рут не спешила разыгрывать новую роль; ей достаточно было лишь наблюдать себя в этой роли. Она довольствовалась приметами и внешними свидетельствами высокой страсти. Надушив нижнее белье, любясь в зеркале нещадно изуродованным личиком, она ощущала себя новой Лолой Монтеc³⁷, не стремясь шевельнуть и пальцем, чтобы подтвердить свои притязания на этот образ. А образ этот демонстрировало ей не только зеркало, тут замешалось и общественное мнение: изумленные, завистливые и язвительные сверстники, скандализированные учителя. Их взгляды и замечания служили опорой ее собственным фантазиям. Чудо стало известно не ей одной; другие люди тоже признали, что она превратилась в *grande amoureuse, femme fatale*³⁸. Все это было так ново, волнующе и захватывающе, что до поры, благодарение небу, обо мне почти забыли. Кроме того, я нанес ей непростительную обиду, отнесясь к ее последнему перевоплощению без должной серьезности. Это произошло в самый первый день наступившей свободы. Я спустился вниз и застиг Рут и Бьюлу за спором. «Такая симпатичная девочка, — выговаривала ей старушка. — Постыдилась бы!» Симпатичная девочка попробовала привлечь меня на свою сторону:

«Вы-то не считаете, что мама будет против моей косметики, правда?» Бьюла не дала мне ответить. «Я тебе скажу, что сделает твоя мать, — уверенно и с безжалостной прямоотой сказала она, — как увидит это безобразие, так сядет на диван, возьмет тебя в охапку, спустит штаны и всыплет по первое число». Рут оглядела ее с холодным и высокомерным презрением и заметила: «Я не к тебе обращаюсь». Потом повернулась ко мне: «А что скажете вы, Джон? — Клубничные губы изогнулись в попытке изобразить обворожительную улыбку, пылкий взор стал еще более много обещающим. — Что скажете вы? Только ради самозащиты я ответил ей честно. «Боюсь, что Бьюла права, — сказал я. — По первое число». Улыбка увяла, глаза потемнели и сузились, под алой краской на щеках выступил натуральный сердитый румянец. «Ну, тогда вы просто гадкий», — выпалила она. «Гадкий! — откликнулась Бьюла. — Это кто ж это гадкий, скажите на милость!» Рут нахмурилась и закусила губу, делая вид, что не замечает ее.

«Сколько лет было Джульетте?» — спросила она, предвкушая свое торжество.

«Годом меньше, чем тебе», — ответил я. Лицо ее расцвело насмешливой улыбкой.

«Только Джульетта, — продолжал я, — не ходила в школу. Ни уроков, ни домашних заданий. Никаких забот, кроме мыслей о Ромео да о косметике — если она ею пользовалась, хотя это весьма сомнительно. А у тебя есть алгебра, есть латынь и французские неправильные глаголы. Тебе дана неоценимая возможность в один прекрасный день стать культурной молодой женщиной».

³⁷ Лола Монтеc (сценический псевдоним Марии Гилберт, 1818-1861) — авантюристка и «испанская» танцовщица, стяжавшая международную известность благодаря связи с баварским королем Людвигом I.

³⁸ знаменитая любовница, роковая женщина — франц.

Наступила долгая тишина. Потом она сказала: «Я вас ненавижу». Это был вопль разъяренной Саломеи, Долорес, впавшей в праведное негодование, ибо ее по ошибке приняли за пигалицу из средней школы. Потекли слезы. Смешиваясь с черной накипью туши для ресниц, они прокладывали себе путь сквозь аллювиальные наслоения румян и пудры. «Свинья вы, — рыдала она, — свинья!» Она утерла глаза; потом, заметив на платке жуткую мешанину, вскрикнула от ужаса и кинулась вверх. Через пять минут, спокойная и без всякой косметики, она уже направлялась в школу. Это-то и послужило одной из причин, — объяснил Риверс, — благодаря которым наша *grande amougeuse* обращала так мало внимания на предмет своей страсти, почему в первые две недели после своего появления на свет *femme fatale* больше предпочитала заниматься собою, нежели тем несчастным, кому сценарист этого спектакля отвел роль жертвы. Она устроила мне проверку и нашла меня, к сожалению, абсолютно недостойным сей ответственной роли. В ту пору ей показалось лучше разыгрывать пьесу одной.

Так что по меньшей мере до конца текущей четверти я получил передышку. Но тем временем наступила черная полоса у моего нобелевского лауреата.

Через три дня самостоятельной жизни Генри улизнул на вечеринку к одной музыковедше, отличавшейся богемными вкусами. В умении пить былинки, ветром колеблемые, не могут сравниться с настоящими джентльменами. Дабы достичь приличной степени опьянения, Генри вполне хватало чая и обыкновенной беседы.

Мартини делал его маньяком, затем он внезапно погружался в депрессию, после чего неизбежно следовала рвота. Он, разумеется, помнил это, но его ребяческая натура требовала утверждения своей независимости. Кэти иногда разрешала ему выпить хереса. Ладно же, он ей покажет: пусть знает, что настоящие мужчины в грош не ставят этот дурацкий сухой закон. Без kota мышам раздолье. И они (такова уж любопытная извращенность человеческой природы) тут же затевают игры, одновременно и скучные, и опасные; игры, в которых проиграть кажется унижением, а решительная победа заставляет искренне пожалеть о своей удаче. Генри принял приглашение музыковедши, и, разумеется, случилось то, что должно было случиться. На середине второго бокала он уже веселил всех присутствующих. По осушении третьего держал музыковедшу за руку и говорил ей, что он несчастнейший человек на свете. А едва начав четвертый, был вынужден сломя голову мчаться в ванную. Но этим дело не кончилось; по дороге домой — он настоял, что пойдет пешком, — Генри умудрился потерять портфель. В нем были три первые главы его новой книги «От Буля к Витгенштейну». Даже теперь, поколение спустя, она остается лучшим введением в современную логику. Маленький шедевр! И она вышла бы, возможно, еще лучше, если бы он не напился и не потерял три главы в их первоначальном варианте. Я сожалел о потере, но приветствовал ее отрезвляющее действие на беднягу Генри. Несколько дней после этого он был прямо шелковый, вел себя почти так же благоразумно, как малыш Тимми. Я уж думал, конец моим заботам, тем более что, судя по сообщениям из Чикаго, Кэти должна была скоро вернуться домой.

Силы ее матери, видимо, иссякали. Иссякали так быстро, что однажды утром, по пути в лабораторию, Генри попросил меня заехать к галантерейщику: он хотел купить себе черный галстук для похорон. Затем электрическим шоком грянуло известие о чуде. В последний миг, не упав-таки духом, Кэти пригласила другого врача — молодого человека, только что из заведения Джонса Хопкинса³⁹, блестящего, неутомимого, владеющего всеми медицинскими новинками. Он применил иной метод лечения, он боролся со смертью всю ночь, весь день и всю следующую ночь. И битва была выиграна; пациентка, стоявшая на краю гибели, вновь вернулась к жизни. В письме Кэти ликовала, и я, конечно же, разделял ее ликование. Старая Бьюла хлопотала по дому, громко восхваляя Господа, и даже дети ненадолго отвлеклись от

³⁹ Джон Хопкинс (1795-1873) — американский финансист и филантроп, основатель бесплатной больницы и университета в Балтиморе, названных его именем.

своих занятий и проблем, от своих сексуальных и железнодорожных фантазий, и примкнули к общей радости.

Счастливы были все, кроме Генри. Разумеется, он прикидывался счастливым; но сумрачное лицо (он никогда не умел скрывать свои истинные чувства) выдавало его. Он рассчитывал, что смерть миссис Хэнбери вернет ему его секретаршу и сожительницу, мать и возлюбленную в одном лице. И вот — неожиданно и совершенно некстати (другого слова не подберешь) — в дело вступает этот молодой хлюст от Джонса Хопкинса со своим дурацким чудом. И человек, которому полагалось тихо-мирно угаснуть, теперь, противу всех правил, находится вне опасности; но, конечно, еще слишком слаб, чтобы оставить его без поддержки. Кэти придется побыть в Чикаго до тех пор, пока больная немного не окрепнет. Одному Богу известно, когда к Генри вернется единственное существо, от которого он зависел целиком и полностью — зависело его здоровье, его здравомыслие, сама его жизнь. Несбывшаяся надежда послужила виновницей нескольких приступов астмы. Но тут, словно вмешалась судьба, мы получили сообщение об избрании его членом-корреспондентом одного французского института. Чрезвычайно лестно! Это вылечило его моментально, но ненадолго. Минула неделя, и с каждым следующим днем его чувство утраты перерождалось в настоящие страдания, похожие на муки отлученного от иглы наркомана. Эти муки находили разрядку в диком, неоправданном негодовании.

Подлая старая ведьма! (В действительности мать Кэти была двумя месяцами младше его.) Гнусная симулянтка! Ведь само собой разумеется, хворь у нее не настоящая — кабы хворала по-настоящему, так давно б уж померла. Она только прикидывается. Из чистой злобы и эгоизма. Хочет удержать дочь при себе, а заодно (она всегда ненавидела его, старая ведьма!) помешать ей находиться там, где велит долг, — при своем муже. Я кое-что рассказал ему о нефрите и заставил перечитать письма Кэти. Этого хватило на день-два, а затем пришли обнадеживающие известия. Больная так скоро поправлялась, что еще несколько дней — и ее без опаски можно будет оставить на попечение сиделки и горничной. Эта радость превратила Генри чуть ли не в нормального отца — таким я наблюдал его впервые. Вместо того чтобы после обеда скрыться у себя в кабинете, он затеял игры с детьми. Вместо разговора о своих собственных идеях он попытался развлечь их плохими каламбурами и загадками. «Что делал слон, когда пришел Наполеон?» Разумеется, ел травку, потому что пришел на поле. Тимми был в восторге, и даже Рут удостоила нас улыбки. Минули еще три дня, и наступило воскресенье. Вечером мы играли в безик, а потом в дурачка.

Пробило девять. Последний кон — и дети ушли наверх. Минут десять спустя они уже улеглись и позвали нас пожелать им спокойной ночи. Сначала мы заглянули к Тимми. «А эту ищешь? — спросил Генри. — Из какой рыбы получится итальянский город, если прочесть наоборот?» Ответ был, понятно, «налим», но Тимми едва ли слышал о Милане и не выразил особенного восхищения. Мы потушили свет и отправились в соседнюю комнату. Рут взяла с собой в постель плюшевого медвежонка, который заменял ей и ребеночка и сказочного принца.

Она надела светло-голубую пижаму и тщательно накрутилась. Ее учитель объявил протест против румян и духов на уроках, но увещевания оказались напрасными, и тогда директор категорически запретил косметику. Поэтессе пришлось довольствоваться малым — раскрашенной и надушенной отходить ко сну. В комнате разлило фиалками, а на подушке, по обе стороны от маленького личика, виднелись следы губной помады и туши. Однако Генри был не такой человек, чтобы замечать подобные пустяки. «Какое растение, — промолвил он, подходя к кровати, — или, точнее, какая ягода вырастет, если закопать портрет своего бывшего возлюбленного?» — «Возлюбленного?» — повторила дочь. Она глянула на меня, покраснела и отвела взор. Затем выдавила смешок и сердитым, презрительным тоном заметила, что не знает. «Брусника, — торжествующе провозгласил отец; но она не поняла, и ему пришлось объяснить: — Бр-р! усни-ка. Ты что, не понимаешь, в чем соль? Это портрет возлюбленного — бывшего возлюбленного, а у тебя новый ухажер. И что же ты делаешь?

Бросаешь старого». — «А почему „бр-р“?» — спросила Рут. Генри прочел ей краткую содержательную лекцию об употреблении междометий. «Бр-р» выражает отвращение, «фи» — брезгливость, «чур меня» — испуг. «Но никто никогда так не говорит», — возразила Рут. «Зато раньше говорили», — довольно кисло парировал Генри. Из глубины дома, со стороны хозяйской спальни, послышался телефонный звонок. Лицо его прояснилось. «Кажется, это Чикаго, — сказал он, наклоняясь к Рут и целуя ее на сон грядущий. — А еще мне кажется, — добавил он, спеша к двери, — что мама вернется завтра. Завтра!» — повторил он и исчез. «Вот будет замечательно, — истово воскликнул я, — если он угадал!» Рут кивнула и промолвила «да» таким тоном, словно сказала «нет». На ее узком накрашенном личике вдруг отразилось серьезное беспокойство. Без сомнения, она вспомнила, что пророчила ей Бьюла по возвращении матери; увидела и даже ощутила, как Долорес-Саломею, уложенную на большое материнское колено, награждают звонкими материнскими шлепками, невзирая на то, что она годом старше Джульетты. «Так я пошел», — наконец произнес я. Рут взяла меня за руку и удержала. «Еще чуточку», — взмолилась она, и с этими словами облик ее переменился. Мучительное беспокойство уступило место робкой улыбке обожания; губы раздвинулись, глаза раскрылись шире и заблестели. Словно она внезапно вспомнила, кто я такой — ее раб и безжалостный синебородый повелитель, то самое существо, на котором держится ее двойная роль роковой соблазнительницы и покорной жертвы. А завтра, если мать и впрямь вернется домой, будет уже поздно; представление окончится, театр закроют по приказу полиции. Значит, теперь или никогда. Она сжала мне руку. «Я вам нравлюсь, Джон?» — неслышно прошептала она. «Конечно!» — ответил я звонким, жизнерадостным голосом профессионального затейника. «Больше, чем мама?» — допытывалась она. Я изобразил добродушное нетерпение. «Что за дурацкий вопрос! — сказал я. — Твоя мама нравится мне, как нравятся взрослые. А ты нравишься...» — «Как нравятся дети, — расстроено заключила она. — Словно это имеет значение!» — «А разве нет?» — «Не в таких вещах». И когда я спросил, в каких «таких вещах», она сжала мою руку и сказала: «Когда человек нравится», — подарив мне очередной многозначительный взгляд. Наступила неловкая пауза. «Ну, и пошел», — наконец сказал я и вспомнил присказку, которая всегда чрезвычайно веселила Тимми. «Спи спокойно, — добавил я, высвобождая руку, — да гляди, блох в перине не буди». Шутка прозвучала в тишине так, будто грохнулась чуянная чушка. Она продолжала смотреть на меня без улыбки, напряженно-томным взором, который показался бы мне смешным, если б я не был напуган до полусмерти. «Так вы пожелаете мне спокойной ночи по-настоящему?» — спросила она. Я наклонился, чтобы запечатлеть у нее на лбу ритуальный поцелуй, и вдруг руки ее обвилились вокруг моей шеи, и вышло, что уже не я целую ребенка, а ребенок целует меня — сначала в правую скулу, потом, с более явным намерением, ближе к уголку рта. «Рут!» — выпалил было я, но, не дай мне продолжить, она с какой-то неловкой решимостью поцеловала меня снова, на сей раз прямо в губы. Я вырвался из ее рук. «Зачем ты это сделала?» — испуганно и сердито спросил я. Она покраснела и, взглянув на меня, блестя огромными глазами, шепнула: «Я тебя люблю», потом отвернулась и закрылась лицом в подушку рядом с плюшевым медвежонком. «Так, — сурово сказал я. — Сегодня я в последний раз пришел пожелать тебе спокойной ночи», — и повернулся уходить.

Кровать скрипнула, босые ноги застучали по полу, и только я прикоснулся к двери, как Рут нагнала меня и схватила за руку. «Простите меня, Джон, — сбивчиво бормотала она — Простите. Я сделаю все, что вы скажете. Все-все...» Глаза у нее теперь были совершенно как у спаниеля, в них не осталось ничего зазывного. Я велел ей лечь в постель и сказал, что, может, и сжалюсь над нею, если она будет очень хорошей девочкой. Иначе... С этой неопределенной угрозой я покинул ее. Сначала я зашел к себе и смыл с лица губную помаду, а потом направился дальше по коридору и по лестнице, в библиотеку. Едва миновав подъем, я чуть не столкнулся с Генри — он вышел из своих апартаментов. «Что новенького?» — начал я. Но тут увидел его лицо и ужаснулся.

Пять минут назад он весело сыпал загадками. Теперь это был дряхлый старик, бледный,

как смерть, однако лишенный посмертной безмятежности, ибо глаза его и страдальческие складки у губ выражали глубочайшую муку.

«Что-нибудь неладно?» — испуганно спросил я. «Звонила Кэти, — наконец промолвил он безжизненным тоном. — Она не придет». Я спросил, не хуже ли старой леди. «Это только предлог», — горько ответил он, потом повернулся и пошел туда, откуда минуту назад вышел. Полный сочувствия, я двинулся следом.

Помню, там был небольшой коридорчик, кончался он дверью в ванную, а дверь налево вела в спальню хозяев. Прежде я никогда не заглядывал сюда и теперь прямо остолбенел, оказавшись лицом к лицу с удивительной кроватью Маартенсов. Это была кровать старого американского типа с пологом на четырех столбиках и таких гигантских размеров, что невольно напомнила мне об убийствах президентов и национальных похоронах. Разумеется, у Генри она вызывала несколько иные ассоциации. Сей катафалк был его брачным ложем.

Рядом с этим символом и ареной его супружеского счастья стоял телефон, только что приговоривший Генри к очередной полосе одиночества. Нет, супружество не совсем верное слово, — вскользь заметил Риверс. — Оно относится к связи двух полноценных личностей на равных правах. Но Кэти не была для Генри личностью; она служила ему пищей, являлась жизненно важным органом его собственного тела. В ее отсутствие он походил на корову без выгона, на больного желтухой, который изо всех сил пытается прожить без печени. Это была агония. «Может, приляжете?» — сказал я, бессознательно принимая льстиво-убедительный тон, каким говорят с больными. И сделал жест в сторону кровати. Последовала реакция, подобная ответу па нечаянный чих, когда взбираешься в горах по свежевывавшему снегу, — лавина. И какая лавина!

В ней и духу не было снежной девственной белизны — на меня обрушился жаркий, зловонный поток нечистот. Он ослепил, ошеломил, захлестнул меня. До сих пор пребывавший дурачком в раю запоздалой и абсолютно непростительной невинности, я слушал в ужасе, глубоко потрясенный. "Все ясно, — повторял он.

— Все ясно как день". Ясно, что Кэти не вернулась домой оттого, что она не хочет возвращаться домой. Ясно, что она нашла себе другого мужчину. И ясно, что этот другой — новый врач. Ведь, как всем известно, врачи — хорошие любовники. Они знают физиологию, прекрасно разбираются в работе вегетативной нервной системы.

Мой ужас сменился негодованием. Как он смеет говорить такое о моей Кэти, об этой удивительной женщине, чистой и совершенной, под стать моему неземному чувству к ней? «Вы что, действительно предполагаете...» — заикнулся я. Но Генри ничего не предполагал. Он категорически утверждал.

Кэти изменяла ему с молодым хлыщом от Джонса Хопкинса.

Я сказал ему, что он сошел с ума, а он ответил, что я ничего не смыслю в сексе. Это, разумеется, была горькая правда. Я попытался сменить тему. При чем тут секс — речь идет о нефрите, о матери, которой нужна дочерняя забота.

Однако Генри не слушал. Единственное, чего он теперь жаждал, — это растравлять себя. А если ты спросишь, отчего ему понадобилось себя растравлять, я могу ответить только одно: оттого, что он уже страдал. Он был слабейшим, более зависимым членом симбиотического союза, который (как ему мерещилось) только что жестоко разрушили. Это напоминаю хирургическую операцию без наркоза. Вернись Кэти, и муки тотчас же прекратились бы, душевная рана мгновенно исчезла. Но Кэти не возвращалась. Поэтому (замечательная логика!) Генри испытывал потребность причинить себе как можно больше дополнительных страданий. А самый простой способ достигнуть этого — облечь свое несчастье в терзающие душу слова. Говорить и говорить, разумеется, не со мной, ни даже в мой адрес; только с самим собой (что существенно, если хочешь помучиться) в моем присутствии. Отведенная мне роль не была даже ролью эпизодического персонажа вроде вестника или наперсницы.

Нет, я служил безымянным, почти безликим придатком, чьей задачей было обеспечить герою повод для высказывания мыслей вслух; к тому же простым торчанием на месте я

придавал звучащему монологу чудовищность, откровенную непристойность, которых не было бы, останься солист в одиночестве. Поток нечистот самопроизвольно ширился. От измены жены Генри перешел к ее выбору (самое гнусное обвинение) молодого партнера. Молодого, а значит, более сильного, более неутомимого в любовных утехах. (Это в придачу к тому, что он как врач знал физиологию и вегетативную нервную систему.) Личность, профессионал, прирожденный целитель — все исчезло; естественно, то же самое произошло и с Кэти. От них осталась лишь пара сексуальных фантомов, бешено упивающихся друг другом посреди вселенской пустоты. Я начал смутно осознавать, что раз Генри так представляет себе отношения Кэти и ее любовника, то и его собственные отношения с нею рисуются ему похожим образом. Я уже называл Генри былинкой, ветром колеблемой; а такие былинки всегда склонны к пылкости, в чем ты и сам наверняка неоднократно имел случай убедиться. Они пылки до безумия. Нет, не так. Безумие ослепляет. А люди вроде Генри в любви никогда не теряют галопы. Разум не покидает их, как бы далеко они ни зашли, — и благодаря этому они получают полную возможность упиваться сознанием взаимной отчужденности себя и партнера. И действительно, не считая лаборатории и библиотеки, это было единственное, что Генри считал достойным внимания. Многие живут в мире, напоминающем французский *caf au lait*⁴⁰ — пятьдесят процентов снятого молока и пятьдесят бурды из цикория, половина психофизической реальности и половина общеупотребительного словесного мусора. Мир Генри был устроен на манер хайбола⁴¹. Он представлял собой смесь полупинты шипучих философских и научных идей и маленькой, с наперсток, дозы непосредственного житейского опыта, в основном сексуального.

Былинки, ветром колеблемые, как правило, люди необщительные. Они слишком заняты своими идеями, своими переживаниями и своими психосоматическими болячками, чтобы сохранить способность интересоваться другими людьми — даже собственными детьми и женами. Они находятся в хроническом состоянии глубочайшего добровольного неведения, ничего ни о ком не знают, зато у них заранее готово мнение обо всем на свете. Взять хотя бы вопрос, как воспитывать детей. Генри с апломбом рассуждал об этом. Он читал Пиаже⁴², он читал Дьюи⁴³, он читал Монтессори⁴⁴, он читал психоаналитиков. Все это было рассортировано и разложено по полочкам у него в мозгу, словно в картотеке, — только руку протяни. Но если требовалось сделать что-нибудь для Рут и Тимми, он или оказывался абсолютно беспомощным, или, чаще всего, просто исчезал со сцены. Потому что, конечно же, они докучали ему. Все дети ему докучали. Это относилось и к подавляющему большинству взрослых. А как же иначе?

Мыслительные способности были у них в зачаточном состоянии, читали они полную чепуху. Что они могли продемонстрировать? Только свои сантименты да свою мораль, — только мудрость по случаю, а как правило — плачевное ее отсутствие. Словом, только свою человеческую природу. Но как раз этой-то штукой, человеческой природой, бедняга Генри был органически не способен заинтересоваться. Между царствами квантовой механики и гносеологии на одном конце спектра и сексом да болью на другом лежала пустынная область, которую населяли одни призраки. И среди этих призраков семьдесят пять процентов

⁴⁰ Кофе с молоком (франц.).

⁴¹ Хайбол — алкогольный напиток с содовой и льдом в высоком бокале.

⁴² Пиаже Жан (1896-1980) — швейцарский психолог.

⁴³ Дьюи Джон (1859-1952) — американский философ, один из ведущих представителей прагматизма.

⁴⁴ Монтессори Мария (1870-1952) — итальянский педагог. Разрабатывала методы развития органов чувств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сторонница свободного воспитания.

относились к нему самому. Потому что собственная человеческая природа тоже оставалась для него тайной за семью печатями. Его идеи и его ощущения — о них-то он знал все. Но каков сам человек, у которого возникают эти идеи, который переживает эти ощущения? И каковы связи этого человека с теми вещами и людьми, которые его окружают? Какими, наконец, должны быть эти связи?

Сомневаюсь, что Генри когда-нибудь приходило в голову поразмыслить на подобные темы. Во всяком случае, в тот раз не пришло. Его монолог не был мучительными метаньями супруга между любовью и подозрениями. Тогда он был бы чисто человеческим откликом на чисто человеческую ситуацию — и как таковой никогда не прозвучал бы в присутствии столь неопытного и бестолкового слушателя, совершенно неспособного сказать в ободрение что-нибудь путное, каким тридцать лет назад был юный Джон Риверс. Нет, реакция Генри оказалась явно недочеловеческой, и одною из подтверждающих это черт служил тот самый факт — верх чудовищности и неразумия, — что его речь произносилась в присутствии человека, которого не назовешь ни близким другом, ни мудрым советчиком, а всего только ошарашенным молодым недотепой с исключительно благочестивым прошлым и парой восприимчивых, хотя и готовых сгореть со стыда ушей. Ах, эти бедные уши! В них без передышки вливалась богато аргументированная наукообразная грязь. Бертон⁴⁵ и Хевлок Эллис⁴⁶, Крафт-Эбинг⁴⁷ и несравненные Плосс и Бартельс — все они, вместе с Пиаже и Джоном Дьюи, хранились на своих местах в картотеке, созданной Генри у себя в мозгу, и цитировались с мельчайшими подробностями. Но в этой области, как теперь выяснилось, Генри вовсе не устраивала роль кабинетного ученого. Он следовал научным рекомендациям в личной жизни, он систематически обращал теорию в практику. До чего же трудно вспомнить силу прежних табу, глубокую тайну, окутывавшую отношения полов, — ведь сейчас мы спокойно обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а садистские сексуальные приемы — за вазочкой мороженого! Что касается меня, то все, о чем говорил Генри, — техника любовного акта, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения — казалось мне откровеньем из бездны. Это были вещи, о которых порядочные люди не заикались, даже, как я наивно полагал, и не подозревали; вещи, которые годились для обсуждений и могли найти отклик только в борделях, на оргиях богачей, на Монмартре, в китайском или французском квартале. И вдруг я выслушиваю эти ужасные речи от человека, ценимого мною выше всех остальных, от человека, не знающего себе равных по интеллекту и научной эрудиции. И он связывал эти ужасы с именем женщины, которую я любил, как Данте любил Беатриче, перед которой преклонялся, как Петрарка перед Лаурой. Словно очевиднейшую вещь на свете, он утверждал, что у Беатриче ненасытные аппетиты, что Лаура нарушила брачный обет ради физических ощущений, которые легко мог вызвать у нее любой здоровый мерзавец с достаточным знанием вегетативной нервной системы. Даже не обвиняй он Кэти в неверности, его слова устроили бы меня, ибо подразумевали, что эти ужасные вещи случаются не только благодаря измене, но и в обычной супружеской жизни. Вряд ли ты мне поверишь, — со смешком добавил Риверс, — но я говорю сущую правду. До рассказа Генри я не имел представления о том, что происходит между мужьями и женами. Вернее, представление-то у меня было, да только, как это ни грустно, ошибочное. Я считал, что, в отличие от подонков общества, порядочные люди сходятся лишь для того, чтобы зачать ребенка — раз в жизни, как сложилось у моих родителей, или дважды, как у Маартенсов. И вот передо мной, на краю своего катафалка, сидел Генри и говорил без остановки. Ясным

⁴⁵ Бертон Роберт (1577-1640) — английский философ-моралист, автор трактата «Анатомия меланхолии», где обсуждаются также и любовные переживания.

⁴⁶ Эллис Хевлок (1859-1939) — английский ученый и писатель, автор шеститомного труда «Исследование психологии секса».

⁴⁷ Крафт-Эбинг Рихард фон (1840-1902) — немецкий психиатр, автор труда «Сексуальная психопатия».

языком гения, с ребяческой бестактной раскованностью говорил о непонятных и, на мой взгляд, страшно непристойных вещах, которые происходили под этим траурным пологом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей — не жертвой, как я вначале безуспешно пытался убедить себя, а соучастницей, действующей с готовностью и даже с энтузиазмом. Ведь именно этот энтузиазм и дал ему повод подозревать ее.

Потому что раз ее чувственность так откровенно проявлялась здесь, на домашнем катафалке, то еще откровеннее она должна была проявиться на Севере, в Чикаго, в альянсе с молодым врачом. И вдруг, к неопишуемому моему смущению, Генри закрыл лицо руками и зарыдал. Наступило молчание.

— А ты что? — спросил я.

— А что я мог предпринять? — пожал плечами он. — Ничего, кроме робких попыток утешить его неопределенным бормотаньем и советами лечь в постель.

Завтра, мол, он поймет, что произошла огромная ошибка. Затем, якобы с целью принести ему горячего молока, я улизнул на кухню. Бьюла расположилась в кресле-качалке и читала какую-то книжонку о Втором пришествии. Я сказал ей, что доктор Маартенс плохо себя чувствует. Она выслушала, важно кивнула, словно ожидала этого, потом прикрыла глаза и долго шептала про себя молитвы — шевелились только ее губы. После чего вздохнула и промолвила: «Незанятый, выметенный и убранный»⁴⁸. Такой ей был голос. И хотя в отношении человека, который мог бы заткнуть за пояс полдюжины обыкновенных умников, это звучало довольно странно, стоило чуть подумать, и слова эти показались бы как нельзя более точной характеристикой бедняги Генри. Незанятый, потому что в нем не было Бога; выметенный, так что внутри не осталось ни соринки обыкновенного мужества; и, словно рождественская елка, убранный блестящими суждениями. Да и семь других духов, похуже тупости и сентиментальности, тоже нашли себе там прибежище. Но тем временем вскипело молоко. Я наполнил термос и понес его наверх. Когда я ступил в спальню, мне на миг померещилось, что Генри ударил.

Потом за катафалком раздались какие-то звуки. Генри стоял там, в закутке между окном и драпированной спинкой кровати, перед распахнутой дверцей маленького сейфа, вделанного в стену, — обычно эту дверцу прикрывал поясной портрет Кэти в свадебном наряде. «Вот и молоко спелое», — фальшиво-жизнерадостно начал я. Но тут увидел, что предметом, который он извлек из потайного шкафчика, был револьвер. Сердце мое дало перебой. Я вдруг вспомнил, что на Чикаго есть полночный поезд. В моем воображении замелькали шапки послезавтрашних газет: «ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЕНЫЙ УБИВАЕТ ЖЕНУ И СЕБЯ». Или: «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ СОВЕРШИЛ ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО». Или даже: «МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПОГИБАЕТ В ПЛАМЕННЫХ ОБЪЯТИЯХ ЛЮБОВНИКА». Я поставил термос и, внутренне приготовясь, если понадобится, нокаутировать Генри слева в челюсть или коротким резким ударом в солнечное сплетение, пошел к нему. «Будьте любезны, доктор Маартенс», — почтительно произнес я. Он отдал револьвер без борьбы, лишь слегка, бессознательно попытавшись удержать его. Спустя пять секунд оружие уже было надежно спрятано у меня в кармане. «Я только посмотреть, — тихим, бесцветным голосом сказал он. А потом, чуть помолчав, добавил: — Так чудно думать об этом». А когда я спросил, о чем, он ответил:

«О смерти». И это был гениальный и клад великого человека в сокровищницу человеческой мудрости. Смерть — чудная штука, если подумать. Потому-то он никогда о ней и не думал — разве что в подобных случаях, когда страдания толкали его на поиски повода к еще большим страданиям. Убийство?

Самоубийство? Эти мысли и в голову ему не приходили. Чего он искал в орудиях

⁴⁸ Незанятый, выметенный и убранный... семь других духов... — Одна из притч Иисуса гласит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там» (Мф 12 : 43-45; Лк 11 : 24-26).

смерти — так это дополнительной муки, болезненного напоминания в разгар прочих страданий, что когда-нибудь потом, еще очень и очень нескоро, ему тоже придется умереть.

«Может быть, уберем это обратно?» — спросил я. Он кивнул. На маленьком столике рядом с кроватью лежало все, что он выгреб из сейфа, ища револьвер.

Я принялся водворять вещи на место: шкатулку с драгоценностями Кэти, полдюжины коробочек с медалями, полученными великим человеком от разных ученых обществ, несколько набитых бумагами конвертов. И наконец, книги: все шесть томов «Психологии секса», «Фелицию» Андре де Нерсья⁴⁹ и брюссельский анонимный труд с иллюстрациями, озаглавленный: «Пансион мисс Флогги». «Ну вот, порядок», — сказал я как мог весело и спокойно, запер сейф и вернул ему ключи. Потом поднял портрет и опять повесил его на крючок. Кто бы догадался, что за этим изображением мадонны в белом атласном платье с лилиями, в уборе из флердоранжа — ее удивительная красота сохранилась на портрете, несмотря на бездарность художника, — скрывается такая странная коллекция: «Мисс Флогги» и пачки ценных бумаг, «Фелиция» и золотые кругляшки, коими одаривает своих гениев не слишком благодарное общество?

Спустя полчаса я покинул его и отправился к себе в комнату — с каким невероятным облегчением, с каким блаженным чувством вырвавшись наконец из этого гнетущего кошмара! Но я не обрел покоя даже в собственной комнате.

Первым, что бросилось мне в глаза, как только я зажег свет, был конверт, прищипленный к подушке. Я вскрыл его и извлек пару розовых листочков. Это были любовные стихи от Рут. На сей раз рифмуя нежность и безнадежность, отвергнутая сообщала, что признание счастья ей не принесло, лишь что-то там такое навлекло, и тень меж ней и милым пролегла. Для одного вечера это оказалось уж чересчур: гений прячет в сейфе порнографию; Беатриче побывала в ученицах у мисс Флогги; а невинное дитя красится почем зря, бомбардирует молодых людей страстной чепухой и, если ее не остановит запертая дверь, того и гляди попытается перенести свои пыланья и метанья из плохих виршей в еще более скверную действительность.

На следующее утро я проспал и, сойдя вниз к завтраку, застал детей, почти покончивших с овсянкой. «Мама пока задерживается», — сообщил я. Тимми искренне огорчился; но у Рут так вспыхнули глаза, что формально высказанное сожаление не могло скрыть ее радость. Я был сердит и оттого жесток. Достал из кармана ее стихи и положил на скатерть рядом с пончиком. «Чушь собачья», — безжалостно сказал я. Потом, не взглянув на нее, вышел из комнаты и снова поднялся наверх поглядеть, как дела у Генри. В девять тридцать он должен был читать лекцию и мог опоздать, не разбуди я его вовремя. Однако в ответ на мой стук изнутри раздался слабый голос больного. Я вошел. На катафалк словно уже водрузили мертвеца. Я измерил ему температуру. Оказалось за сто один. Ну что тут поделаешь? Я побежал вниз, на кухню, посоветоваться с Бьюлой.

Старушка вздохнула и покачала головой. «Вот увидите, — сказала она. — Он заставит ее вернуться домой». И она поведала мне историю, случившуюся два года назад, когда Кэти отправилась во Францию посетить могилу убитого на войне брата. Не минуло и месяца со дня ее отъезда, как Генри заболел — и заболел так серьезно, что пришлось вызывать Кэти обратно телеграммой. Когда девятью днями позже Кэти вернулась в Сент-Луис, он уже еле дышал. Она вошла к нему в комнату, положила ладонь ему на лоб. "Истинно вам говорю, — выразительно изрекла Бьюла, — это было точь-в-точь воскрешение Лазаря⁵⁰. Стоял ведь одной ногой в могиле, а тут — вжик! — разом обратно к жизни, точно на лифте. Через три

⁴⁹ Андре Роббер де Нерсья (1739-1800) — французский писатель и поэт, автор скабрёзных, порнографических сочинений.

⁵⁰ Воскрешение Лазаря — чудо, сотворенное Иисусом Христом: воскрешение человека через четыре дня после смерти (Ин 11).

дня он уже уплетал жареного цыпленка и тараторил без умолку. И теперь будет то же самое. Он заставит ее приехать домой, даже с риском ради этого отправиться на тот свет". И правда, — добавил Риверс, — он чуть было туда не отправился.

— Так болезнь оказалась настоящей? Разве он не ломал комедию?

— Как будто эти вещи противоречат друг другу! Разумеется, он ломал комедию, но это получалось у него так здорово, что он чуть не умер от пневмонии. Однако в ту пору я мало что смыслил в подобных штуках. У Бьюлы точка зрения была гораздо ближе к научной. Мною безоговорочно владел предрассудок, будто болезни вызываются микробами; она же верила в психосоматическую медицину. Итак, я позвонил врачу и опять направился в столовую. Дети закончили завтрак и ушли. С этого утра я не видал их добрых две недели: вечером, когда я вернулся из лаборатории, выяснилось, что Бьюла по совету врача собрала их и отправила погостить к приятелю-соседу. Меня избавили от стихов, от необходимости держать дверь на запоре. Это было огромное облегчение. Я позвонил Кэти вечером в понедельник, а потом — во вторник, сообщив, что нам пришлось нанять сиделку и поставить кислородную палатку. На следующий день Генри стало хуже; но звонок в Чикаго принес те же вести и о несчастной миссис Хэнбери. «Не могу я ее бросить, — в отчаянии твердила Кэти. — Не могу!» Для Генри, рассчитывавшего на ее возвращение, это оказалось едва ли не смертельным ударом. За два часа температура подскочила на целый градус, началась горячка. «Кому-то из них не жить — или ему, или миссис Хэнбери», — сказала Бьюла и ушла к себе испросить указание свыше. Она получила его минут через двадцать пять. Миссис Хэнбери все равно умрет, а Генри выздоровеет, если вернется Кэти. Стало быть, ей необходимо вернуться.

Врач убедил ее окончательно. «Не хочу вас пугать, — сказал он в тот вечер по телефону, — но...» Это решило дело. «Приеду завтра вечером», — ответила она, Генри, похоже, добился-таки своего — правда, едва не хватив лишку.

Врач ушел. Сиделка осталась дежурить на ночь. Я отправился к себе.

«Завтра приедет Кэти, — мысленно повторял я. — Завтра приедет Кэти». Но какая — моя или Генри, Беатриче или любимая ученица мисс Флогги? Что же, гадал я, теперь все изменится? Разве можно после того потока нечистот сохранить свои чувства к ней? Эти вопросы мучили меня всю ночь и весь следующий день. Они преследовали меня и тогда, когда я после долгого ожидания услышал подъезжающее к дому такси. Моя Кэти или его? Ужасное предчувствие нахлынуло на меня и сковало по рукам и ногам. Я долго не мог заставить себя стронуться с места и выйти ей навстречу. Когда я наконец отворил наружную дверь, багаж уже стоял на ступеньках, а Кэти расплачивалась с шофером. Она повернула голову. Какой бледной показалась она мне в свете уличного фонаря, как похудела и устала! Но как же была прекрасна! Прекрасна, как никогда, — но прекрасна по-новому, так что у меня просто сердце разрывалось; и я почувствовал, что люблю ее с пылом, в котором тают последние следы грязных подозрений, сменяясь жалостью и неистойвя тягой к самопожертвованию, отчаянным стремлением помочь и защитить, жизнь положить за нее. А как же монолог Генри и другая Кэти? Как же «мисс Флогги» и «Фелиция», и «Психология секса»? Мое жарко бьющееся сердце отвергло это как бессмыслицу или по крайней мере как нечто абсолютно постороннее.

Едва мы вошли в прихожую, из кухни выбежала Бьюла. Кэти обвила руками старушкину шею; долгих полминуты стояли они так в безмолвном объятии. Потом Бьюла чуть подалась назад и испытующе глянула на хозяйку в упор. И восторг на ее заплаканном лице постепенно сменился глубокой озабоченностью. «Да вы на себя не похожи, — воскликнула она. — Одна тень осталась. Вы уже почти как он». Кэти попробовала было отшутиться. Устала немножко, вот и вся беда. Но старушка убежденно покачала головой. "Это сила, — сказала она. — Сила вышла из вас⁵¹. Как из возлюбленного Господа нашего,

⁵¹ Сила вышла из вас. Как из возлюбленного Господа нашего... Ср.: «В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?» (Мк 5 : 30)

когда за него стали цепляться страждущие". — «Чепуха», — ответила Кэти. Однако Бьюла говорила правду. Силы и впрямь покинули Кэти. Три недели у одра матери высосали из нее жизнь. Она была опустошена, от нее осталась только оболочка, одушевленная чистой волей.

Но на одной воле далеко не уедешь. Воля не может переварить за тебя пищу или сбить тебе температуру — а уж другому-то и подавно. «Подождите до завтра, — взмолилась Бьюла, когда Кэти объявила о своем намерении сразу же отправиться к больному. — Вам надо поспать. Сейчас, в таком состоянии, вы ничем не сможете ему помочь». — «А в прошлый раз помогла», — возразила Кэти. «Тогда было совсем по-другому, — настаивала старушка. — Тогда в вас была сила; вы не походили на тень». — «Да ну тебя с твоей тенью!» — чуть раздраженно произнесла Кэти; повернувшись, она отправилась вверх по лестнице. Я пошел следом.

Генри под кислородной палаткой не то спал, не то лежал без сознания.

Его щеки и подбородок покрылись седой щетиной, нос на исхудавшем лице казался карикатурно огромным. Мы смотрели на него, и тут он медленно поднял веки. Кэти наклонилась над прозрачным окошком палатки и позвала его по имени. Он никак не отреагировал, в бледно-голубых глазах не отразилось даже намек на то, что он узнал или хотя бы заметил ее. "Генри, — повторила она.

— Генри! Это я. Я приехала". Блуждающий взор остановился, и мигом позже в его глазах мелькнул слабый проблеск узнавания — но лишь мелькнул. Взгляд снова ушел в сторону, губы зашевелились; он опять вернулся к своим бредовым видениям. Чудо сорвалось; Лазарь по-прежнему лежал пластом. Наступила долгая тишина. Наконец Кэти уронила, тяжело, безнадежно: «Пойду-ка я лучше спать».

— А чудо? — спросил я. — Удалось ей совершить его на следующее утро?

— Как? В ней не осталось ни сил, ни жизни — одна воля да тревога. Еще вопрос, что хуже: самому страдать от тяжкого недуга или наблюдать, как тяжело страдает тот, кого ты любишь. Тут необходимо начать с определения слова «ты». Я говорю: ты тяжело болен. Но разве речь и впрямь о тебе? Разве не идет она, по сути, о совершенно новой, ограниченной личности, которую создали жар и токсины? Личности без интеллектуальных запросов, без социальных обязанностей, без материальных интересов. А ведь любящая нянька остается собою, со всеми воспоминаниями о прежнем счастье, всеми страхами перед будущим, всеми тревожными думами о мире, который находится вне комнаты больного, вне этих четырех стен. И еще, насчет смерти. Как ты относишься к перспективе смерти? Если ты по-настоящему болен, то как бы отчаянно ты ни боролся за жизнь, неизбежно придешь к состоянию, когда какая-то часть тебя будет вовсе не прочь умереть. Все что угодно, только не эти муки, только не этот неопишимо унижительный, бесконечный кошмар перевоплощения в комок страдающей плоти! «Свобода или смерть». Но в данном случае это одно и то же.

Свобода есть смерть, есть обретение счастья — но, разумеется, лишь для больного, а отнюдь не для той, что любит его и ухаживает за ним. Она не имеет права на такую роскошь, как смерть, не может покориться и благодаря этому выйти из тюрьмы, куда заточена вместе с больным. Ее дело сражаться, даже если абсолютно ясно, что бой проигран; надеяться, даже если повод есть только к отчаянью; молиться, даже если Бог явно отвернулся от нее, даже если она наверняка знает, что Его нет. Ее может одолевать тоска и дурные предчувствия — но действовать она должна так, словно исполнена радостной и искренней уверенности в успехе. Она может потерять мужество, но должна по-прежнему поддерживать его в больном. Да к тому же у нее столько забот и хлопот, что это превышает физические возможности. И никаких передышек; она все время должна быть рядом, все время под рукой, все время давать и давать — пусть даже давать ей уже нечего, пусть даже она окончательно разорена. Да, разорена, — повторил он. — Что и произошло с Кэти. Разорилась дотла, но обстоятельства и собственная воля вынуждали ее растрачиваться дальше. И что уж совсем

— и далее; тот же эпизод излагается и в Лк 8.

худо, траты эти ни к чему не приводили. Генри не выздоравливал, разве что не умирал. А она долгими, непрестанными усилиями спасти ему жизнь убивала себя. Шли дни — три дня, четыре, уже не помню сколько. А потом наступил день, которого я никогда не забуду. Двадцать третье апреля тысяча девятьсот двадцать второго года.

— День рожденья Шекспира.

— И мой тоже.

— Разве?

— Не в физическом смысле, — пояснил Риверс. — Тот в октябре. Нет, день моего духовного рождения. День моего превращения из слабоумного переростка в нечто более похожее на нормальное человеческое существо. Мне сдается, — добавил он, — что мы заслужили еще по капельке виски.

Он налил стаканы.

— Двадцать третье апреля, — повторил он. — Сколько потрясений пришлось на итог день! Накануне Генри плохо провел ночь, и ему стало заметно хуже. А около полудня из Чикаго позвонила сестра Кэти — сказать, что конец близок.

Вечером мне нужно было прочесть доклад в одном из местных научных обществ.

Домой я вернулся к одиннадцати и застал только сиделку. Она объяснила мне, что Кэти у себя в комнате, пытается заснуть хоть ненадолго. Помочь я все равно ничем не мог и тоже отправился спать.

Часа два спустя я очнулся от прикосновения — кто-то ошупью пробрался к моей кровати. В комнате стояла кромешная тьма; но я тут же уловил тонкий аромат фиалок, говорящий о незримом присутствии женщины. Я сел. «Миссис Маартенс?» (Я так и звал ее — "миссис Маартенс.) В воздухе витало гнетущее предчувствие. «Доктору Маартенсу хуже?» — встревоженно спросил я. Сразу ответа не последовало — только скрипнули пружины: это она присела на краешек кровати. По лицу моему скользнула бахрама испанской шали, накинутой на ее плечи, меня овеяло благоуханием. Внезапно я с ужасом заметил, что думаю о рассказах Генри. Беатриче страдает от неутолимого желания, Лаура побывала в ученицах у мисс Флогги. Какое святотатство, какая страшная мерзость! Меня захлестнуло стыдом, но стыд тут же сменился глубочайшим раскаянием и самоуничижением: нарушив долгую тишину, Кэти ровным, невыразительным голосом сообщила мне, что снова звонили из Чикаго — ее мать умерла. Я пробормотал что-то в утешение. Опять раздался ровный голос. «Я пробовала заснуть, — сказала она, — не получается. Слишком устала». Послышался безнадежный, тяжелый вздох, и вновь наступила тишина.

«Вы никогда не видели, как люди умирают?» — наконец прозвучал опять бесстрастный голос. Но на военной службе мне не пришлось попасть во Францию, а когда умирал отец, я жил у бабки по матери. К двадцати восьми годам я знал о смерти так же мало, как и о другом могучем прорыве природной стихии в вербализованный мир, живого опыта в царство наших суждений и условностей — об акте любви. «Самое страшное — это разрыв с миром, — слышал я ее голос. — Сидишь, беспомощная, и видишь, как рвутся связи, одна за другой. Связь с людьми, связь с окружающими предметами, связь с языком. Они перестают замечать свет, перестают ощущать тепло, разучиваются дышать воздухом. И последней начинает слабеть связь с собственным телом. В конце концов человек повисает на одной только ниточке — и эта ниточка с каждой минутой делается все тоньше, тоньше». Голос сорвался; по тому, как глухо прозвучали последние слова, я понял, что Кэти закрыла лицо руками. «Одиночество, — прошептала она, — полное одиночество». Что умирающие, что живущие — каждый из них всегда одинок. В темноте раздался тихий всхлип, потом она судорожно, непроизвольно вздрогнула, вскрикнула чужим голосом. Она рыдала. Я любил ее, она жестоко страдала. И тем не менее все, что пришло мне на ум, — это сказать: «Не плачьте». — Риверс пожал плечами. — Если не веришь в Бога и загробную жизнь — а я, сын священника, конечно, не верил, разве только в переносном смысле, — что еще ты можешь сказать, столкнувшись со смертью? А в этом конкретном случае дело весьма осложнилось

побочным щекотливым обстоятельством: я не мог решить, как называть Кэти. Ее горе и моя жалость к ней делали невозможным обращение «миссис Маартенс», но, с другой стороны, назвать ее по имени было бы бесцеремонно: так мог поступить лишь негодяй с целью воспользоваться несчастьем, памятуя о «мисс Флогги» и вылитых Генри помоях. «Не плачьте», — все повторял я и, не отваживаясь назвать ее по имени и тем проявить свою нежность, положил робкую ладонь ей на плечо и неуклюже по нему похлопал. «Простите, — сказала она. И потом, сбивчиво: — Обещаю, что завтра возьму себя в руки. — И после очередного приступа рыданий: — С тех пор, как вышла замуж, я еще ни разу не плакала». Весь смысл этой последней фразы прояснился у меня в мозгу много позже. Женщина, которая позволяет себе плакать, никак не годилась бы в жены бедняге Генри. Его вечные недуги ни на миг не давали Кэти расслабиться. Но даже самая несокрушимая стойкость имеет предел. В ту ночь Кэти дошла до последней черты. Она потерпела полный крах — но в каком-то смысле могла быть благодарна такому краху. Все обернулось против нее. Однако в качестве компенсации ей была дарована передышка от ответственности, ей было дозволено — пусть лишь на несколько кратких минут — обрести в плаче столь редкое для нее блаженство. «Не плачьте», — твердил я.

Но на самом деле ей хотелось выплакаться, ей это было необходимо. Уж не говоря о том, что она имела на это полное право. Смерть окружала ее со всех сторон: она поразила ее мать; она угрожала вот-вот поразить ее мужа, а еще через сколько-то лет и ее самое, а еще через сколько-то и ее детей. Все они шли к одному и тому же — к постепенному разрыву связей с миром, к медленному, неуклонному перетиранию поддерживающих нитей и, наконец, к последнему падению — в полном одиночестве — в пустоту.

Где-то далеко, над крышами домов, часы проббили три четверти. Этот звон был рукотворным довеском к оскорблению космического масштаба — символом непрестанного бега времени, напоминаньем о неизбежном конце. «Не плачьте», — взмолился я и, забыв обо всем, кроме сострадания, переместил руку с ближнего плеча на дальнее и привлек ее поближе. Дрожа и рыдая, она прижалась ко мне.

Проббили часы, безвозвратно утекало время, и даже живые совсем, совсем одиноки. Единственным отличием от усопшей в Чикаго, от умирающего в другом конце дома нам служило то, что мы могли быть одинокими в компании, могли сблизить два своих одиночества и притвориться, будто они слились в некую общность. Но тогда подобные мысли у меня, разумеется, не возникали. Тогда во мне не осталось места ни для чего, кроме любви и жалости да еще очень практического беспокойства о здоровье этой богини, которая вдруг превратилась в плачущего ребенка, моей обожаемой Беатриче, которая дрожала точно так же, как дрожат маленькие щенята, — я чувствовал это, бережно обнимая ее за плечи. Она закрыла лицо руками; я дотронулся до них, они были холодны как камень. И голые ноги холодны как лед. «Да вы совсем замерзли!» — почти негодуя воскликнул я. А затем, радуясь, что наконец-то появилась возможность претворить свою жалость в полезные действия, скомандовал: «Вы должны укрыться одеялом. Немедленно». Я представил себе, как заботливо укутываю ее, потом пододвигаю стул и, точно родная мать, тихо бодрствую, пока она отходит ко сну. Но только я попробовал выбраться из кровати, как она прильнула ко мне, она не желала меня отпускать. Я хотел было освободиться, принялся было протестовать: «Миссис Маартенс!» Но это напоминало стремление вырваться из рук тонущего ребенка, попытку одновременно и негуманную, и нереальную. К тому же она промерзла до костей, и ее била дрожь, которую она не могла унять. Я сделал единственное, что мне оставалось.

— То есть тоже лег под одеяло?

— Под одеяло, — повторил он. — И там меня обняли за шею две холодные голые руки, ко мне прикикло дрожащее тело, сотрясаемое рыданиями.

Риверс отхлебнул виски и, откинувшись в кресле, долгое время молча курил.

— Правда, — наконец промолвил он, — вся правда и ничего, кроме правды.

Все свидетели дают одну и ту же клятву и повествуют об одних и тех же событиях.

Результат — пятьдесят семь литературных версий. Какая из них ближе к правде? Стендаль или Мередит⁵²? Анатоль Франс или Д.Г.Лоуренс? «И потайные струи наших душ сольются в сиянье страсти золотом»⁵³ или «Сексуальное поведение женщины»?

— А ты — знаешь ответ? Он покачал головой.

— Может быть, тут нам пригодится геометрия. Опишем это событие в трехмерной системе координат. — Мундштуком трубки Риверс начертил перед собой в воздухе две линии под прямым углом друг к другу, потом провел из точки пересечения вертикаль, так что рука его с трубкой поднялась выше головы. — Пусть одной из этих осей будет Кэти, другой — Джон Риверс тридцать лет тому назад, а третьей — Джон Риверс нынешний, то бишь я сам. Итак, что мы можем сказать о ночи двадцать третьего апреля тысяча девятьсот двадцать второго года, поместив ее в эту систему отсчета? Разумеется, не всю правду.

Но уж во всяком случае, гораздо больше правды, чем позволил бы нам любой отдельно взятый подход. Начнем с оси Кэти. — Он снова провел ее, и дым из трубки на миг обозначил перед ним эту расплывчатую линию. — Ось прирожденной язычницы, силою обстоятельств попавшей в такой переплет, что легко выбраться из него смог бы разве лишь ортодоксальный христианин или буддист. Ось женщины, для которой этот мир всегда был счастливым домом и которая оказалась вдруг на краю бездны, лицом к лицу со страшной черной пустотой, стремящейся поглотить ее тело и душу. Бедняжка! Она чувствовала себя покинутой — не Богом (ибо монотеизм был органически чужд ей), но богами — всеми богами, от домашних малюток, ларов и пенатов⁵⁴, до могущественных олимпийцев. Они покинули ее и забрали с собой все. Ей нужно было опять найти своих богов. Ей нужно было вновь стать частью природного, а потому божественного порядка вещей. Ей нужно было восстановить свои связи с жизнью — жизнью в ее простейших, наиболее недвусмысленных проявлениях, таких, как физические контакты с людьми, как ощущение животного тепла, как сильное чувство, как голод и утоление голода. Речь шла о самосохранении. И это еще не все, — добавил Риверс. — Она плакала, горя о матери, которая только что умерла, горя о муже, который мог умереть завтра. А ведь между сильными переживаниями есть нечто общее. Злость чрезвычайно легко трансформируется в сексуальную агрессивность, а печаль, создайте ей только подходящие условия, почти незаметно выливается в самую восхитительную чувственность. После чего, конечно, приходит ниспосланный Им благословенный сон. Если человек понес тяжкую утрату, любовь заменяет ему снотворное или путешествие на Гавайи.

Никто ведь не осудит вдову или сироту, буде они воспользуются этими невинными средствами, чтобы смягчить боль. Так стоит ли порицать их, если ради сохранения жизни или здоровья они прибегнут к другому, более простому методу?

— Я-то не порицаю, — уверил его я. — Но у многих иная точка зрения.

— Тридцать лет назад ее разделял и я. — Он провел трубкой вверх и вниз по воображаемой вертикали. — Ось занудного двадцати восьмилетнего девственника, ось лютеранского воспитанника и маменькиного сынка, ось идеалиста в духе Петрарки. На этой позиции мне не оставалось ничего иного, кроме как называть себя подлым соблазнителем, а Кэти... Вслух и вымолвить-то страшно. А вот Кэти, как истая богиня, считала все случившееся совершенно естественным, а стало быть, не видела тут ничего аморального. А если поглядеть отсюда, — и он изобразил ось нынешнего Джона Риверса, — я скажу, что оба мы были наполовину правы и оттого целиком заблуждались: она — стоя по ту сторону добра и зла на своей олимпийской позиции (а ведь олимпийцы были всего-навсего кучкой сверхъестественных животных, наделенных чудотворными способностями), а я — вообще не

⁵² Мередит Джорд (1828-1909) — английский писатель.

⁵³ И потаенные струи наших душ сольются... — Строка из поэмы П.Б.Шелли «Эпипсихидион».

⁵⁴ Лары и пенаты — в римской мифологии покровители семьи и домашнего очага.

выходя за рамки добра и зла, по уши увязнув в слишком человеческих понятиях греха и социальных условностей.

Правду сказать, ей следовало бы спуститься до моего уровня, а потом пойти еще дальше, по другую сторону; а мне следовало бы подняться на ее уровень и, не удовлетворившись этим, продолжать путь вперед, чтобы встретиться с нею там, где и вправду оказываешься вне рамок добра и зла, но не как сверхъестественное животное, а как преобразенный человек. Достигни мы того уровня, вели бы мы себя иначе или нет? На это невозможно ответить. Да и не могли мы тогда его достигнуть. Она была богиней, временно попавшей в полосу несчастий и благодаря чувственности вновь нашедшей дорогу на утраченный Олимп. Я терзался, совершив грех тем более ужасный, что его сопровождало неимоверное наслаждение. Попеременно, а то и одновременно я бывал двумя разными людьми: новичком в любви, которому выпала огромная удача сойтись с женщиной и раскованной, и по-матерински нежной, необычайно ласковой и необычайно чувственной, и мучимым совестью страдальном, который сгорал со стыда, превратившись, по прежним канонам, и раба худших своих страстей, и был шокирован, буквально оскорблен (ибо имел рамную тягу как к покаянию, так и к осуждению) той свободой, с какой его Беатриче принимала внутреннюю прелесть этих контактов, его Лаура обнаруживала искушенность в любовной науке — и, что еще ужаснее, обнаруживала ее на мрачном фоне ухода людей из жизни. Миссис Хэнбери умерла, умирал Генри. По всем правилам ей следовало облечься в траур, а мне — предлагать утешаться философией. Но действительность, эта грубая, не знающая правил действительность... — На миг наступило молчанье. — Карлики, — задумчиво промолвил потом он, вглядываясь сквозь прикрытые веки в далекое прошлое. — Карлики из другого мира.

Собственно, они и тогда не принадлежали к моему миру. Той ночью, двадцать третьего апреля, мы были в Мире Ином, она и я, на небесах беззвучной тьмы, где царили обнаженность, касанья и слияние. И что за откровения, что за пятидесятницы⁵⁵ изведал я на этих небесах! Ее неожиданные ласки нисходили ко мне, словно ангелы, словно святые голуби⁵⁶. И как нерешительно, как запоздало я отвечал на них! Губы мои едва отваживались шевельнуться, руки сковывал страх согрешить против моих представлений — вернее, представлений моей матушки — о том, какой полагается быть порядочной женщине, о том, каковы, собственно, и есть все порядочные женщины, — но, несмотря на это (что столь же отпугивало, сколь и пленяло), робкие мои прегрешения против идеала вознаграждались такими чудесными откликами, такой безграничной ответной нежностью, какой я не мог и вообразить. Однако над этим ночным Иным Миром возвышался враждебный ему посюсторонний — мир, в котором Джон Риверс двадцать второго года мыслил и чувствовал дневной порою; мир, где такие вещи были явным преступлением, где ученик обманывал наставника, а жена — мужа, мир, откуда наше ночное небо представлялось наимерзейшей скверной, а нисходящие ангелы — просто-напросто проявлениями похоти на фоне супружеской измены. Похоть и измена, — повторил Риверс с коротким смешком. — Как это старомодно звучит! Нынче мы предпочитаем говорить о порывах, необходимости, внебрачных связях. Хорошо это? Или плохо? Или все равно, что так называть, что иначе? Может быть, лет через пятьдесят Бимбо удастся найти ответ. А пока остается лишь констатировать факт, что на языковом уровне мораль есть всего-навсего регулярное повторение бранных слов. Низко, мерзко, гадко — вот языковые основы этики; и эти самые слова терзали меня часами, когда я лежал, глядя на спящую Кэти. Сон — тоже ведь Мир

⁵⁵ Пятидесятница — христианский праздник, отмечающий сошествие Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после вознесения Христа.

⁵⁶ Святые голуби — крещение Христа и эпизод последующего явления Святого Духа в обличье голубя описаны во всех четырех Евангелиях.

Иной. Еще более иной, чем царство прикосновений. От любви ко сну, от иного — к еще более иному. Это-то еще более иное и делает сон возлюбленной едва ли не священным. Беспомощная святость — вот что восторгает людей в младенце Христе; а тогда это наполняло меня огромной, невыразимой нежностью. Но тем не менее все это было низко, мерзко, гадко. Ужасный монотонный рефрен! Словно дятлы долбили меня чугунными клювами. Низко, мерзко, гадко... Но в тишине между двумя приступами этой долбежки я слышал тихое дыханье Кэти; и она была моей милой, погруженной в сон и беспомощной, и оттого священной в том Ином Мире, где любая брань и даже любые славословия были совершенно неуместны и лишены смысла. Что не мешало проклятым дятлам вновь набрасываться на меня с прежней жестокостью.

А потом, противу всех правил сочинительства и изящной словесности, меня, должно быть, одолел сон. Ибо вдруг обнаружилось, что уже светает, в окрестных садах щебечут птицы, а Кэти стоит рядом с кроватью и накидывает на плечи свою бахромчатую шаль. Какую-то долю секунды я не мог сообразить, откуда тут взялась миссис Маартенс. Потом вспомнил все — откровенья во тьме, неопишуемые Иные Миры. Но сейчас было утро, и мы опять очутились в этом мире, и мне снова следовало звать ее миссис Маартенс. Миссис Маартенс, чья мать только что умерла, чей муж вот-вот умрет. Низко, мерзко, гадко! Как мне теперь осмелиться хоть однажды взглянуть ей в лицо? Но тут она повернулась и взглянула мне в лицо сама. Я едва успел заметить зарождающуюся на ее губах знакомую улыбку — ясную, открытую, — как мной овладел приступ стыда и смущенья, заставивший меня отвернуться. «Я надеялась, что ты не проснешься», — прошептала она и, нагнувшись, поцеловала меня в лоб, словно ребенка. Я хотел сказать ей, что, несмотря на эту ночь, я преклоняюсь перед нею по-прежнему; что любовь моя столь же велика, сколь и раскаянье; что моя благодарность за происшедшее так же бесконечно глубока, как и решимость никогда больше не поступать подобным образом. Но слова не шли с уст; я онемел. Молчала и Кэти, хотя совсем по другой причине. Если она не сказала ничего насчет случившегося, то лишь потому, что отнесла случившееся к разряду вещей, о которых лучше не говорить. «Уже седьмой час, — вот и все, что промолвила она, выпрямившись. — Мне надо пойти сменить эту бедняжку, сиделку Копперс». Потом повернулась, бесшумно отворила дверь и так же бесшумно прикрыла ее за собой. Я остался один, на растерзанье своим дятлам.

Низко, мерзко, гадко; гадко, мерзко, низко... Когда зазвонил колокольчик к завтраку, я уже принял решение. Чтобы не жить во лжи, чтобы не порочить свой идеал, я должен уехать — навсегда.

В холле, по дороге в столовую, я налетел на Бьюлу. Она несла поднос с яичницей и беконом и напевала «Все твари, что под небом рождены»; при виде меня она расцвела лучезарной улыбкой и произнесла: «Возблагодарите Господа!» Я менее, чем когда-либо, был настроен благодарить Его. «Скоро мы узрим чудо», — продолжала она. А на мой вопрос, откуда она это взяла, Бьюла ответила, что сию минуту видела в комнате у больного миссис Маартенс, и миссис Маартенс вновь стала прежней. Из тени превратилась в ту, какой была раньше. Сила вернулась к ней, а это значит, что доктор Маартенс скоро пойдет на поправку. «Вот она — благодать Божья, — сказала Бьюла. — Я молилась о ней день и ночь: „Боже Святой, осени миссис Маартенс Своей благодатью. Верни ей силу, чтобы доктор Маартенс выздоровел“. И вот это случилось — случилось!» — И, словно в подтверждение ее словам, на лестнице позади нас раздался шорох.

Мы обернулись. Это была Кэти. Она надела черное платье. Благодаря любви и сну лицо ее разгладилось, а телодвиженья, вчера такие вялые, стоившие ей такого мучительного труда, были теперь столь же легки и плавны, столь же полны жизни, как до болезни матери. Она снова стала богиней — и траур не затмил ее чела, она блистала даже в печали и скорби. Богиня спустилась по лесенке, пожелала нам доброго утра и спросила, передала ли мне Бьюла печальное известие. На миг мне подумалось, что с Генри худо. «Это про доктора?..» — начал я. Она прервала меня. Нет, печальное известие о ее матери. И вдруг я сообразил, что в чужих глазах не должен знать о трагическом звонке из Чикаго. Кровь бросилась мне в

лицо, и я отвернулся в страшном смятении. Ложь уже началась, и разве не погряз я в ней! Грустно, но спокойно богиня продолжала рассказывать о полуночном телефонном разговоре, о рыданиях сестры на другом конце провода, о последних мгновениях затянувшейся агонии. Бьюла шумно вздохнула, сказала, что на все Божья воля и что она всегда так думала, потом сменила тему. «А как доктор Маартенс?» — спросила она. Мерили ему температуру? Кэти кивнула: мерили, и она явно упала. «Я же говорила! — торжествуя заметила мне старушка. — Это благодать Божья, так и знайте. Господь вернул ей силу». Мы пошли в столовую, сели и принялись за еду. Как припоминаю, с большим аппетитом. И еще я припоминаю, что этот аппетит произвел на меня весьма удручающее впечатление. — Риверс усмехнулся.

— Как трудно не сделаться манихейцем⁵⁷! Духовное выше телесного. Смерть — явление духовное, и на ее фоне яичница с беконом выглядит пошло, а любовь кажется откровенным надругательством. И однако же, вполне очевидно, что яичницей с беконом может обернуться Божья благодать, что любовь может послужить средством божественного вмешательства в дела смертных.

— Ты рассуждаешь, точно Бьюла, — возразил я.

— Потому что об этом по-другому не скажешь. Изнутри вдруг прорывается какая-то чудесная мощь, нечто явно значительнее тебя самого; прежде безразличные или просто неблагоприятные для тебя обстоятельства и события мгновенно, безо всякой причины оборачиваются твоим спасеньем — таковы факты.

С ними сталкиваешься, их переживаешь. Но только примешься это описывать, как замечаешь, что говоришь языком верующего. Благодать, Соизволение, Наитие, Провидение — слова слишком громкие, они заранее дают ответ на любой вопрос.

Но бывают случаи, когда без них не обойтись. Как с Кэти, например. По возвращении из Чикаго ее силы иссякли. Иссякли совершенно, так что она ничем не могла помочь Генри и ей была в тягость собственная жизнь. Другая на ее месте принялась бы молиться о ниспослании ей новых сил, и молитва могла возыметь действие — бывает ведь и такое. Абсурд, конечно, что и говорить, — однако же бывает. Да только не с людьми типа Кэти. Кэти и молиться-то не привыкла. Сверхъестественной была для нее Природа; божественное не являлось ни духовным, ни чисто человеческим; оно существовало в рощах, и солнечных лучах, и животных, оно жило в цветах, в кисломолочном запахе младенцев, в тепле и уюте свернувшихся калачиком детей, оно жило, конечно, и в поцелуях, в ночных откровениях любви, в более спокойном, но оттого не менее великолепном ощущении собственного здоровья. Она походила на женщину-Антея — непобедимая, пока стоит на земле, богиня, покуда сохраняет внутреннюю связь с высшей Богиней-матерью вне ее. Три недели ухода за умирающей разрушили эту связь. Ее восстановление и было благодатью, а случилось это в апрельскую ночь, двадцать третьего числа. Один час любви, пять-шесть часов в еще более ином мире, во сне, — и пустота заполнилась, тень заново обрела плоть и кровь. Она снова ожила — то есть не она, конечно: в ней ожило Неизвестное, — повторил он. — На одном краю спектра это чистый дух, Свободное Сияние Пустоты; на другом — это инстинкт, это здоровье, это безупречное функционирование организма, который не станет давать сбоев, если ему не мешать; а где-то посередине между двумя крайностями лежит то, что святой Павел называл «Христом», — божественное, перешедшее в человеческое.

Благодать духовная, благодать животная, благодать человеческая суть три проявления одной и той же всеобъемлющей тайны; по-настоящему нам должны быть доступны они все. Практически же мы изолируем себя от благодати вообще, а если и отворяем двери, то лишь для одной из ее форм. Чего, разумеется, недостаточно. Но лучше уж иметь треть пирога, чем

⁵⁷ Манихейцы — последователи религиозного учения, основанного у III в. Мани (по преданию, проповедовал в Персии, Средней Азии, Индии). В основе манихейства — дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Телесное и вещественное манихейцы относили к царству тьмы.

сидеть вовсе без хлеба.

Утро двадцать третьего апреля продемонстрировало это как нельзя более наглядно. Лишенная животной благодати, Кэти напоминала бесплотный призрак.

Вновь обретя ее, она опять стала великолепным воплощением в одном лице Геры, Деметры и Афродиты, да еще с Эскулапом и Лурдским гротом⁵⁸ в придачу — потому что чудо определенно готово было свершиться. После трех дней на краю могилы Генри почувал в жене новую силу и пошел на поправку. Лазарь воскресал на глазах.

— В конечном счете, благодаря тебе!

— В конечном счете, благодаря мне, — повторил он.

— Le Cocu Miracul⁵⁹. Какой сюжет для французского фарса!

— Не лучше всякого другого. Эдип, или, к примеру, Лир, или даже Иисус, Ганди — история любого из них может послужить темой для уморительнейшего фарса. Стоит лишь описать героев со стороны, не проявляя к ним симпатии и пользуясь сочным, но не поэтическим языком. В действительности фарс существует лишь для зрителей, для участников же — никогда. То, что происходит с ними, — это либо трагедия, либо сложная и более или менее мучительная психологическая драма. Для меня, скажем, фарс чудесного исцеления рогоносца стал затянувшейся мукой нарушенной верности, конфликта любви и долга, борьбы с соблазнами, неизменно заканчивавшейся позорной капитуляцией, стыдливого упоения страстно отвергаемыми радостями, принятия благих решений, о которых я вскоре забывал, потом вспоминал снова и вновь отметал прочь в порыве неудержимого желания.

— Ты ведь, кажется, собирался уехать.

— Собирался, но это было до того, как я увидел на лестнице мою возрожденную богиню. Богиню в трауре. Эти свидетельства скорби поддерживали во мне сочувствие, религиозное обожание, рисовали чистый образ возлюбленной, достойной духовного преклонения. Но за черной розой на лифе подымалась грациозная шея; обрамленное завитками медового цвета лицо сияло неземной прелестью. Как там у Блейка?

Всяких женщин красит то же,
В чем блудниц очарованье —
Приметы утоленного желанья.⁶⁰

Но приметы утоленного желанья неизбежно будят его вновь, обещают новое его утоление. Господи, как неистово я желал ее! И как глубоко раскаивался, как страстно презирал себя с высот своего идеализма! Вернувшись из лаборатории, я решил поговорить с ней начистоту. Но она оборвала меня.

Разговоры были не ко времени и не к месту. Могла войти Бьюла или сиделка Копперс. Лучше уж вечером, чтобы не рисковать. Вечером она и впрямь пришла ко мне в комнату. В полутьме, в облаке исходящего от нее аромата я попытался высказать ей все мысли, какие мне не удалось высказать утром: что я люблю ее, но это нельзя; что никогда я не был так счастлив и в то же время так глубоко несчастен; что я буду вспоминать случившееся всю жизнь с самой пылкой благодарностью и что завтра я уложу чемоданы и уеду, и никогда, никогда больше ее не увижу. На этом месте мой голос дрогнул, и неожиданно для себя я зарыдал. На сей раз настала очередь Кэти сказать: «Не плачьте», предложить утешение в

⁵⁸ Лурдский грот — грот во французском городе Лурде, где находится источник целебной святой воды.

⁵⁹ Исцеленный рогоносец (франц.)

⁶⁰ Всяких женщин красит то же... — Уильям Блейк, стихи из записной книжки (1793 г., No41). Риверс цитирует стихи не дословно.

виде руки на плече, а потом и объятий; результат, естественно, воспоследовал тот же, что и предыдущей ночью. И даже более того: откровения были еще ослепительней, ко мне нисходили уже не простые ангелы, но Престолы, Господства, Власти⁶¹; а на следующее утро (нечего и говорить, что чемоданы я так и не уложил) наступило раскаянье под стать восторгам, дятлы мои расสวิрепели в соответствующей степени.

— Ну, Кэти, я думаю, они не трогали.

— Она категорически отказывалась говорить на эту тему, — ответил Риверс.

— Но уж ты-то, наверное, не преминул?

— Рта не закрывал. Но в разговоре должны участвовать двое. Как только я пытался выложить то, что накипело у меня на сердце и не выходило из головы, она либо меняла тему, либо с легким смешком, снисходительно похлопав меня по руке, мягко, но решительно пресекала мои излияния. Я спрашиваю себя, не лучше ли было бы, если б мы сыграли в открытую: назвали вещи их собственными неблагозвучными именами и преподнесли друг другу на серебряной тарелочке свои трепещущие кишочки? Может, и лучше. А может, и нет. Правда раскрепощает; но, с другой стороны, не дразни собаку, так она и не укусит; или, раз собака не кусает, к чему ее дразнить? Никогда не следует забывать, что самые свирепые войны люди затевали не по материальным причинам; это были войны из-за чепухи, из-за болтовни красноречивых идеалистов, — короче говоря, религиозные войны. Откуда берется святая вода? Из святого колодца. А святая война? Из святой простоты — такая война есть триумф примитивной жестокости, результат одержимости неосмысленными символами.

"Что вы читаете, мой господин?"⁶² — «Слова, слова, слова». А что стоит за словами? Ответ: трупы, миллионы трупов. Отсюда мораль — держи язык за зубами; а коли уж придется раскрыть рот, никогда не принимай сказанное чересчур всерьез. И Кэти надежно держала за зубами наши языки. Она обладала природной мудростью, заставляющей ее воздерживаться от произнесения непечатных слов (и а fortiori неудобоваримых научных терминов), молчаливо принимая как должное ежедневные и еженощные непечатные действия, которые этими словами описываются. В тишине действие есть действие. Будучи описано и обсуждено, оно превращается в этическую проблему, в *casus belli*, в источник неврозов. Заговори Кэти — и где бы мы очутились, скажи на милость? В безнадежно запутанном лабиринте угрызений совести и самобичеваний. Конечно, и до этого находятся охотники. А есть и те, кто ненавидит подобные пещи, но в силу раскаянья чувствует себя обязанным страдать. Кэти (благослови ее Боже!) не была ни методисткой, ни мазохисткой.

Она была богиней, а молчание богинь — чистое золото. Это тебе не какая-нибудь липовая позолоченная побрякушка. Чистое, двадцатичетырехкаратное молчание⁶³ без всяких примесей. Жительницы Олимпа держат язык за зубами не из разумной осмотрительности, а просто потому, что говорить-то не о чем. Все богини слеплены из одного теста. У них не бывает внутреннего разлада. А вот жизнь людей вроде тебя и меня — это один сплошной спор. Желанья по одну сторону, дятлы — по другую. И ни секунды настоящей тишины. Чего мне в ту пору очень недоставало, так это порции сладкозвучных оправданий происходящего для нейтрализации всех этих мерзко-низко-гадко. Но от Кэти

⁶¹ Престолы, Господства, Власти — по учению христианского богослова Псевдо-Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии»), третий, четвертый и шестой из девяти «чинов архангельских»; ангелы в узком смысле слова — младший девятый чин. Эта же иерархия приводится в «Божественной комедии» Данте («Рай», XXVIII).

⁶² «Что вы читаете, мой господин?» — «Слова, слова, слова». — Разговор Полония и Гамлета («Гамлет», акт II, сц. 2).

⁶³ Двадцатичетырехкаратное молчание — карат здесь мера содержания золота в сплавах, 1/14 массы сплава. Чистое золото соответствует 24 каратам.

нечего было ждать. Утешительные или непристойные, разговоры не имели для нее никакого смысла. Смысл заключался в непосредственном контакте с животворящими мирами любви и сна. Смысл был в очередном приятии благодати.

Смысл, наконец, был и во вновь обретенной ею способности помогать Генри.

Чтобы оценить пирог, нужно его отведать, а не рассуждать о рецептах.

Удовольствия принимались и дарились, силы росли, Лазарь восстал из мертвых — словом, на вкус пирог оказался весьма неплох. Так бери ломоть потолка да не болтай с набитым ртом — это дурная манера, и к тому же мешает смаковать амброзию. Но для меня такой совет был слишком хорош, чтобы я мог ему последовать. С нею-то я не говорил, она не позволяла. Зато постоянно говорил сам с собой — говорил и говорил, покуда амброзия не превращалась в полынь или не приобретала отвратительного душка запретных наслаждений, осознанного и добровольно творимого греха. Однако чудо вершилось своим чередом.

Неуклонно, быстро, без единого рецидива болезнь отступала от Генри.

— Тебе от этого не становилось легче жить? — спросил я.

Риверс кивнул:

— С одной стороны, да. Я ведь, разумеется, понимал — даже тогда, даже в том состоянии идиотской невинности, — что являюсь косвенным виновником происшедшего чуда. Я предал наставника; но, не предай я его, он, возможно, был бы уже мертв. Я совершил зло; но его результатом оказалось благо. Это отчасти меня оправдывало. Но, с другой стороны, каким ужасным представлялось то, что обретенная Кэти благодать и жизнь ее мужа зависят от столь низкого по своей сути предмета, от такой ужасной мерзости и гадости, как человеческие тела и их сексуальное удовлетворение! Против этого восставал весь мой идеализм. И тем не менее факт был налицо.

— А Генри? — спросил я. — Знал он что-нибудь или хотя бы догадывался, чему обязан своим исцелением?

— Он не знал ничего, — уверенно сказал Риверс. — Он знал даже меньше, чем ничего. В том расположении духа, в каком находился Генри, вырвавшись из могилы, подозрения были немислимы. "Риверс, — сказал он мне как-то раз, уже настолько оправившись, что я мог приходить и читать ему, — я хочу поговорить с вами. Насчет Кэти, — добавил он после короткой паузы. Сердце мое замерло.

Наступил миг, которого я боялся. — Помните тот вечер перед моей болезнью? — продолжал он. — Мне изменил здравый рассудок. Я нагородил кучу такого, чего не следовало говорить, уйму несправедливостей, например, про Кэти и того врача от Джонса Хопкинса". Но, как он теперь выяснил, врач от Джонса Хопкинса был инвалид. Да если б его в детстве и не разбил паралич, Кэти совершенно не способна даже подумать ни о чем таком. И дрожащим от волнения голосом он продолжал расписывать мне, какая Кэти замечательная, как он невероятно счастлив, что нашел и заполучил такую славную, такую красивую, такую разумную и в то же время такую чуткую, такую стойкую, верную и преданную жену. Без нее он сошел бы с ума, выдохся, ничего не достиг. А теперь она спасла ему жизнь, и его мучает мысль, что он сгоряча наговорил про нее столько гадостей и глупостей. Так пусть же я постараюсь забыть их или вспоминать только как бредовые речи больного! Конечно, то, что тайна осталась нераскрытой, было большим облегчением; однако в некоторых отношениях это оказалось даже к худшему — к худшему, ибо при виде такой доверчивости, такого глубочайшего неведения я устыдился самого себя — и не только себя, но и Кэти. Мы были парой ловкачей, обманывающих простофилю — простофилю, который благодаря чувствительности, делающей ему честь, выглядел еще более легковверным, чем ему положено от природы.

В тот вечер я-таки выложил кое-что из накипевшего. Сначала она попыталась заткнуть мне рот поцелуями. Когда я оттолкнул ее, она рассердилась и пригрозила, что уйдет к себе. Я набрался мужества и кощунственно удержал ее силой. «Тебе придется выслушать», — сказал я ей, пытающейся вырваться. И, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, словно опасное животное, я излил свои душевные муки. Кэти выслушала; потом, когда речь была

кончена, рассмеялась. Без всякого сарказма, не желая меня уязвить, а просто из глубин своей солнечной божественной безмятежности. "Ты этого не вынесешь, — поддразнила она. — Ты у нас слишком благородный для обманов! Да ты бы хоть раз подумал о чем-нибудь, кроме своей драгоценной личности!

Подумай для разнообразия обо мне, о Генри! Больной гений и бедная женщина, чья забота — стараться сохранить этому гению жизнь и какое-никакое здоровье.

Его гигантский, сумасшедший интеллект против моих инстинктов, его нечеловеческое отрицание жизни против кипения жизни во мне. Мою долю не назовешь легкой, мне приходилось использовать любое средство, подвернувшееся под руку. И теперь я должна слушать, как ты несешь самую противную чушь из репертуара воскресной школы и осмеливаешься говорить мне — это мне-то! — что не можешь терпеть лжи — прямо Джордж Вашингтон и вишневое деревце⁶⁴. Ты меня утомляешь. Я лучше посплю". Она зевнула и перевернулась на другой бок, ко мне спиной — спиной, — добавил Риверс, усмехнувшись себе под нос, — которая была чрезвычайно красноречива (стоило только приняться изучать ее, точно книгу для слепых, кончиками пальцев), спиной Афродиты Каллипиги. Вот таким, друг мой, — таким был единственный ответ Кэти, хоть сколько-то похожий на объяснения или извинения. После него я ни капли не поумнел. Скорее даже поглупел, ибо ее слова побудили меня задать себе множество вопросов, до ответа на которые она никогда бы не снизошла. Например, полагает ли она такие вещи неизбежными — по крайней мере в условиях ее супружества? Да, собственно говоря, случались ли они прежде? А если так, то когда, как часто, с кем?

— Удалось тебе это выяснить? — спросил я.

Риверс покачал головой.

— Я так и не продвинулся дальше догадок и игры воображения — но, Боже мой, до чего яркой была эта игра! Ее мне, разумеется, оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным, как никогда. Несчастливым и одновременно еще неистовее влюбленным. Почему это, когда подозреваешь любимую женщину в том, что она крутит любовь с кем-то другим, ощущаешь такой прилив желаний? Я любил Кэти до безумия. Теперь же я перешел предел безумия, я любил ее отчаянно и неутолимо, любил мстительно, если ты понимаешь, что это значит.

Вскоре Кэти и сама это почувствовала. «Ты так на меня смотрел, — пожаловалась она два дня спустя, — словно нашел бифштекс на необитаемом острове. Не надо этого делать. Заметят. К тому же я не бифштекс, я нормальный человек, нежареный. Да и вообще, Генри уже почти выздоровел, а завтра возвращаются домой дети. Все должно опять пойти по-старому. Нам надо быть благоразумными». Быть благоразумными... Я обещал — назавтра. А пока — долой свет! — пока была эта мстительная любовь, эта страсть, которая даже в безумии уголенья сохраняла примесь обреченности. Часы шли, и утро наступило своим чередом — первые лучи за занавеской, птички в саду, мука последнего объятия, повторные клятвы быть благоразумными. И как твердо я держал слово!

После завтрака я отправился к Генри и прочел ему статью Резерфорда из последнего номера «Нейчур». А когда Кэти вернулась с рынка, я называл ее "миссис Маартенс и прикладывал все старанья к тому, чтобы выглядеть таким же лучезарно-безмятежным, как и она. Для меня это, разумеется, было лицемерием.

Тогда как для нее — всего лишь проявлением ее олимпийской природы. Незадолго до ленча прикатил кеб с детьми и их пожитками. Кэти и прежде была всевидящей матерью; но ее способность все видеть обычно умерялась добродушной терпимостью к детским недостаткам. На сей же раз, по неизвестной причине, вышло иначе. Может быть, ей ударило в голову чудо воскресения Генри, наделившее ее не только сознанием своей силы, но и

⁶⁴ ...Джордж Вашингтон и вишневое деревце. — Намек на историю из детства Вашингтона: когда ему подарили новый топорик, он срубил им вишневое деревце и сам признался в этом поступке.

охотой использовать эту силу еще на чем-нибудь. Может быть, она была к тому же слегка опьянена собственным мгновенным возрождением, переходом от долгих недель кошмара к обретению животной благодати с помощью любовных утех. Короче, какую бы ни была причина, каковы бы ни были смягчающие обстоятельства, факт остается фактом: именно в тот день Кэти оказалась чересчур уж всевидящей. Она любила своих детей, и их возвращение ее обрадовало, однако, едва увидев их, она ощутила жажду критиковать, замечать непорядок, подавлять своей материнской властью. Через две минуты после встречи она отругала Тимми за грязные уши; через три заставила Рут признаться, что у нее запор; а через четыре, исходя из того обстоятельства, что дочь не дает разбирать свои вещи, догадалась о наличии какой-то постыдной тайны. И вот, по велению Кэти, Бьюла раскрыла чемоданчик, и на свет божий выплыла эта маленькая постыдная тайна: коробка с косметикой и наполовину пустой флакон фиалковых духов. Кэти и в лучшие времена выразила бы неодобрение — но выразила бы его сочувственно, с понимающим смешком. На сей же раз она отчитала дочь громко и язвительно. А сначала швырнула косметический набор в мусорное ведро, собственноручно, с гримасой крайнего отвращения, опорожнила флакончик над унитазом и спустила воду. Когда мы наконец уселись за стол, поэтесса, красная и с распухшими от слез глазами, ненавидела всех и вся: мать за то, что она унизила ее, Бьюлу за то, что сбылось ее пророчество, несчастную миссис Хэнбери за то, что она умерла и, следовательно, не нуждалась более в услугах Кэти, Генрай за то, что он выздоровел и таким образом способствовал их неудачному возвращению домой, а меня за то, что я вел себя с нею как с ребенком, обозвал чушью ее любовные стихи и — что еще непростительнее — явно предпочитал ее обществу обществу матери.

— Она что-нибудь подозревала? — спросил я.

— Наверное, она подозревала все подряд, — ответил Риверс.

— А я думал, вы были благоразумны.

— Мы-то да. Но Рут и прежде ревновала меня к матери. А тут мать обидела ее, к тому же теперь она представляла себе — конечно, чисто теоретически, зато в самой красочной и преувеличенной форме, — что происходит между мужчиной и женщиной, которые испытывают взаимную симпатию. Биенье пламенных сердец; уст искусанных лобзанья. И так далее. Даже если бы между мной и Кэти ничего не произошло, она думала бы иначе и ненавидела бы нас соответственно, питала бы к нам новую, более глубокую ненависть. В прошлом она не умела ненавидеть дольше, чем один-два дня. На сей раз вышло по-другому. Эта ненависть оказалась неумолимой. Целые дни напролет она не разговаривала с нами, сидела за столом в мрачном молчании, полная презренья и неизреченных сарказмов. Бедняжка Рут! Долорес-Саломея была, разумеется, фантазией, но фантазией, которая стояла на твердой почве зарождающейся зрелости. Оскорбив эту фантазию, Кэти и я, оба на свой лад, оскорбили нечто реальное, некую живую составляющую личности девочки. Она вернулась домой с духами и косметикой, со своими новоиспеченными женскими прелестями и своим новоиспеченным словарем, со взглядами Элджернона и настроениями Оскара, — вернулась домой, полная смутных ожиданий чего-то волшебного, смутных предчувствий чего-то зловещего; и что же на нее обрушилось? Горькая обида: ее посчитали неразумным ребенком, кем она, по сути, пока и была. Тяжкое оскорбление: ее не принимали всерьез. Сокрушительное унижение: человек, которого сама избрала своей жертвой и споим Синея Бородой, отверг ее ради другой женщины — да еще, как на грех, ее собственной матери. Так стоит ли удивляться, что все мои попытки вывести ее из угрюмого расположения духа при помощи шуточек и подлизываний потерпели неудачу? «Оставь ее в покое, — посоветовала Кэти. — Пусть дуется, пока не надоеет». Но дни шли, а Рут и не думала менять гнев на милость. Наоборот, она точно упивалась самыми горькими муками уязвленной гордости и ревнивых подозрений. А потом, через неделю после приезда детей, случилось происшествие, обратившее ее хроническую скорбь в самую неприкрытую, самую резкую враждебность.

Генри уже настолько оправился, что подолгу сидел, бродил по своей комнате. Спустя несколько дней должно было наступить окончательное выздоровление. «Поезжайте-ка с ним

на пару неделек за город», — посоветовал врач. Но отчасти из-за ненастной ранней весны, отчасти из-за поездки Кэти в Чикаго загородный дом, где мы проводили уик-энды, не отпирали с самого Рождества. Прежде чем ехать туда жить, нужно было проветрить там комнаты, навести порядок, пополнить запасы еды. «Поедем туда завтра и все устроим», — как-то поутру, за завтраком предложила мне Кэти. Внезапно, будто испугнутый суслик из норки, Рут вынырнула со дна своего зловещего молчания. Завтра, сердито пробормотала она, ей надо в школу. Вот и славно, ответила Кэти, как раз поэтому завтра самый подходящий день для уборки дачи. Ленивые поэтессы не будут слоняться там и путаться под ногами. «Но я должна поехать», — настаивала Рут с какой-то яркой подспудной решимостью. «Должна? — отозвалась Кэти. — Это почему ж ты должна?» Рут взглянула на мать, потом опустила глаза. "Потому что... — начала было она, потом передумала и оборвала фразу.

— Потому что я хочу", — неуклюже закончила она. Кэти засмеялась и посоветовала ей не валять дурака. «Выезжаем рано, — опять обратилась она ко мне, — и берем с собой прогулочную корзинку». Девочка сильно побледнела, попыталась продолжить завтрак, но кусок не лез ей в горло; она пробормотала извинение, не дождавшись ответа, сорвалась с места и убежала из комнаты.

Днем я столкнулся с ней снова, лицо ее походило на маску — безжизненное, но угрожающее, полное затаенной враждебности.

Я услышал, как в прихожей со скрипом отворилась, а потом хлопнула входная дверь. Вслед за тем снаружи раздались шаги и негромкие голоса.

Риверс прервал рассказ и взглянул на часы.

— Всего десять минут двенадцатого, — сказал он и покачал головой.

Потом, тоном выше, окликнул: — Молли! Это ты?

В дверях показалось распахнутое норковое манто, накинутое на алое вечернее платье, квадратный вырез которого обнажал украшенную жемчугом гладкую белую кожу. Над этим нарядом я увидел юное лицо — его можно было бы назвать прекрасным, если б на нем не лежало столь безысходно мрачное выражение.

— Хорошо провели вечер? — спросил Риверс.

— Отвратительно, — сказала женщина. — Потому и пришли так рано. Правда, Фред? — добавила она, адресуясь к темноволосому молодому человеку, вступившему в комнату вслед за ней. Молодой человек ответил ей холодным неприязненным взглядом и отвернулся. — Правда? — повторила она, повысив голос, в котором прозвучала едва ли не страдальческая нотка.

На обращенном в сторону лице появилась чуть заметная улыбка, темноволосый пожал широкими плечами, но промолчал.

Риверс повернулся ко мне.

— Ты ведь видел мою крошку Молли, верно?

— Когда она была вот такого росточка.

— А это, — он повел рукой по направлению к ее спутнику, — мой зять, Фред Шонесси.

Я сказал, что очень рад познакомиться; но молодой человек даже не взглянул на меня. Наступило молчанье.

Молли провела по глазам усыпанной драгоценностями рукой.

— Голова раскалывается, — пробормотала она. — Пойду-ка прилягу.

Она направилась было прочь; затем придержала шаг и, очевидно, преодолевая себя гигантским усилием, сказала:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — хором ответили мы. Но она уже ушла. Без единого слова, точно выслеживающий дичь охотник, молодой человек повернулся и двинулся за ней следом. Риверс глубоко вздохнул.

— Они дошли уже до той черты, — промолвил он, — когда секс кажется весьма скучным, если это не завершение ссоры. Вот тебе, пожалуйста, удел малыша Бимбо. Жизнь с разведенной матерью, меняющей любовников и мужей до тех пор, пока ей хватает

привлекательности. Или с родителями, которым следовало бы развестись, но они не могут расстаться, ибо питают тайное пристрастие к тому, чтобы мучиться и причинять мучения. И в обоих случаях я ничем не могу помочь. Что бы ни стряслось, ребенку придется пройти через ад.

Может быть, он выйдет оттуда, став более сильным и закаленным. А может, его это вконец раздавит. Кто знает? Уж наверное, не эта компания! — Черенком трубки он указал на длинную полку, занятую последователями Фрейда и Юнга. — Литература по психологии! Ее приятно читать; пожалуй, она даже весьма поучительна. Но многое ли она объясняет? Все, кроме самого главного, все, кроме двух вещей, которые в конечном счете и формируют наш жизненный путь:

Предопределения и Благодати. Взгляни на Молли, к примеру. Ее мать умела любить, не стремясь завладеть предметом любви. У ее отца хватило смекалки хотя бы на то, чтобы попытаться последовать примеру жены. Две ее сестры росли счастливыми детьми и стали неплохими женами и матерями. У нас в доме не бывало ни скандалов, ни хронических противостояний, ни взрывов. По всем правилам науки психологии Молли полагалось вырасти абсолютно здоровой и уравновешенной. На самом же деле... — Он не закончил фразы. — А потом, существует ведь и другая разновидность Предопределения. Не внутреннее Предопределение, касающееся характера и темперамента, а Предопределение случая — эта его разновидность уже поджидала меня и Рут, и Кэти. На то, что случилось, нелегко смотреть даже в перевернутый бинокль.

Наступила тишина, которую я не решился нарушить.

— Ну-с, — наконец проговорил он, — давай снова вернемся к Рут, вернемся к вечеру того дня перед поездкой. Я пришел из лаборатории домой, в гостиной сидела Рут и читала. Она даже не взглянула на меня, и я, напустив на себя самый развеселый вид, сказал: «Салют, детка!» Она посмотрела на меня долгим, холодным, зловеще равнодушным взглядом, потом опять занялась книгой. На сей раз я решил подкатиться по литературной части. «Написала что-нибудь новенькое?» — спросил я. «Да, написала», — с ударением произнесла она, и на лице у нее появилась улыбочка, еще более зловещая, чем прежнее равнодушие.

«Поглядеть можно?» К моему великому удивлению, она сказала «да». Поэма еще не закончена, но к утру все будет готово. Я совсем позабыл об этом обещании; однако наутро, уходя в школу, Рут действительно вручила мне один из своих лиловых конвертов. «Вот она, — сказала Рут. — Надеюсь, вам понравится». И, оделив меня очередной ядовитой улыбочкой, поспешила вдогонку за Тимми. Я был слишком занят, чтобы прочесть стихи немедленно, а посему сунул конверт в карман и опять отправился грузить машину. Постельные принадлежности, кухонную утварь, керосин — все это добро я свалил внутрь. Полчаса спустя мы тронулись в путь. Была с крылечка крикнула что-то на прощание, Генри махал рукой из окошка второго этажа. Кэти помахала в ответ и послала им воздушный поцелуй. «Я нынче словно Джон Гилпин, — счастливо сказала она, когда мы вырулили со двора, — могу шутя любую трудность одолеть»⁶⁵.

Стояла лирическая пора, какая бывает в начале мая; выдалось прямо-таки шекспировское утро. Ночью прошел дождь, а теперь деревья кланялись свежему ветерку; молодые листочки блестели в солнечных лучах, точно драгоценные; гигантские мраморные облака на горизонте точно вырвались из грез Микеланджело в момент наивысшего взлета его сверхчеловеческой мощи. А еще кругом были цветы. Цветы в пригородных садах, цветы в лесу и дальше, на полях; и каждый цветок нес в себе осознанную прелесть любимого лица, и аромат его походил на тайную весточку из Иного Мира; в воображении я ощущал пальцами гладкость его лепестков, точно прохладный шелк и живую упругость человеческой кожи. Само собой разумеется, мы все еще были благоразумны. Но мир вокруг вдыхал

⁶⁵ ...могу шутя любую трудность одолеть. — Строка из баллады о Джоне Гилпине, герое юмористической баллады английского поэта Уильяма Каупера (1731 — 1800).

дурман собственного совершенства, пьянел от избытка жизни.

Мы переделали все дела, мы покончили со своим прогулочным ланчем, мы устроились в шезлонгах на солнышке и закурили по сигарете. Но солнце чересчур припекало, и мы решили завершить отдых в доме; а потом, конечно, случилось то, что должно было случиться... Случилось, как я заметил между двумя экстатическими приливами, на глазах у портрета Генри Маартенса почти в полный рост, выполненного и преподнесенного ему правлением некоей крупной электрической фирмы, преуспевшей благодаря его профессиональному совету, и столь чудовищного в своем фотографическом реализме, что его пришлось сослать в пустующую спальню загородного дома. Это был один из тех портретов, что не сводят с тебя глаз, как Старший Брат в оруэлловском «1984». Я повернул голову и увидел его, в светлой визитке, величественно вззирающего на нас, — персонификацию общественного мнения, запечатленный символ и отражение моей собственной терзающейся плоти. А рядом с портретом стоял викторианский шкаф с зеркальными дверцами, где отражалось дерево за окном, а из того, что находилось внутри, — часть кровати с двумя телами в солнечных зайчиках и движущейся тени дубовых листьев. «Прости их, ибо не ведают, что творят». Но здесь, благодаря портрету и зеркалу, невозможно было прикидываться наивными.

И думы о том, что мы совершили, сделались еще более тревожными полчаса спустя, когда, надевая куртку, я услышал шорох плотной бумаги в боковом кармане и вспомнил про лиловый конверт Рут. Стихи, написанные строфами по четыре строки, на сей раз оказались повествованием, вроде баллады, о двух прелюбодеях, верной жене и ее совратителе, представших перед Богом на Страшном суде. Стоя там в тяжелой, обвиняющей тишине, эти двое чувствуют, как невидимые руки снимают с них все облачения, покров за покровом, пока они, наконец, не остаются абсолютно голыми; ибо их возрожденные тела прозрачны.

Легкие и печень, мочевого пузырь и кишки, каждый орган со своим специфическим содержимым — все, все проступает отталкивающе ясно. И вдруг они обнаруживают, что они не одни, что стоят на сцене, в огнях рампы, перед миллионами зрителей, ярус за ярусом; кого-то рвет от отвращения, а кто-то издевается, обвиняет, взывает к отмщению, требует кнутов и каленого железа.

В этих стихах как будто сквозила раннехристианская исступленность, тем более устрашающая, что Рут выросла совершенно вне круга этих зловещих представлений. Страшный суд, геенна, вечные муки — верить в них ее никак не учили... Она лишь использовала эти понятия в собственных целях, дабы выразить свои чувства по отношению к матери и ко мне. Перво-наперво ревность; ревность и отвергнутая любовь; оскорбленная гордость, жестокое возмущение. И для возмущения нужно было найти уважительную причину, а злость представить праведным негодованием. Она подозревала между нами самое худшее, поэтому питала к нам самые ненавистнические чувства. И подозрения эти так захватили ее, что очень скоро перестали быть просто догадками; она поверила в нашу греховность. А когда появилось это убеждение, ребенок в ней почувствовал себя обиженным, а женщина преисполнилась еще более горькой, мстительной ревности, чем прежде. Ощущая, как в груди холодеет от страха, нахлынувшего перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал стихи до конца, еще раз перечел их, потом повернулся лицом к Кэти — она сидела у зеркала, за туалетным столиком, закалывала волосы, улыбаясь в ответ на лучезарную улыбку своего божественного отражения, и напевала «Dove sono i bei momenti Di dolcezza e di piacer?» из «Свадьбы Фигаро». Меня всегда восхищала эта ее неземная безмятежность, это олимпийское *je m'en foutisme*.

Но теперь я взбеленился. Она не имела права не разделять со мной чувства, вызванные стихами Рут. «Хочешь знать, — сказал я, — почему наша крошка Рут так себя ведет? Хочешь знать, что она вообще о нас думает?» И, подойдя, протянул ей два листочка фиолетовой бумаги, на которых Рут написала свою балладу. Кэти принялась читать. Наблюдая за ее лицом, я заметил, как первоначальное выражение добродушного сарказма (ибо стихотворные опыты Рут служили в семье обычным поводом для шуток) уступило

место глубокой сосредоточенности. Потом на лбу между глаз пролегла вертикальная морщинка.

Кэти хмурилась все больше, а перевернув страницу, прикусила губу.

Богиня-таки оказалась уязвимой... Я поквитался с нею; но что толку было радоваться, когда это привело лишь к тому, что вместо одного напуганного кролика в силке очутились два. А к выпутыванию из силков такого рода Кэти была абсолютно не приспособлена. Слишком неприятных ситуаций она просто-напросто не замечала, шла напролом, словно бы их и не существовало. И в конце концов, если она не замечала их достаточно долго и достаточно искренне, они и впрямь прекращали свое существование. Обиженные ею прощали ее, потому что она была так прекрасна и так мила с ними; те, что страдали от избытка желчи или чинили помехи другим, поддавались ее заразительному, божественному душевному равновесию и тут же забывали свои беды и пакостные умыслы. А когда сохранить видимость искреннего неведения не удавалось, она пускала в ход другой прием: без оглядки шла на любой риск; была беззаботно бестактна; совершала чудовищные поступки со всей возможной невинностью и простодушием; откровенно говорила о самых скользких предметах с самой неотразимой улыбкой. Однако в этом случае ни один из способов не годился.

Если она промолчит, Рут и дальше станет гнуть свою линию. А если пойдет на риск и выложит все напрямик, одному Богу известно, как поведет себя потрясенная девочка. А между тем следовало подумать и о Генри, и о ее собственном будущем в роли единственной и, по нашему общему убеждению, абсолютно незаменимой опоры для недужного гения и его детей. Рут имела возможность — и, быть может, уже сейчас находилась в соответствующем настроении — разрушить все здание их совместной жизни только ради того, чтобы досадить матери. И женщина с характером богини, но лишенная божественного всемогущества, ничего не могла с этим поделать. Однако кое-что мог сделать я сам, и пока мы обсуждали ситуацию, — напомню тебе, впервые с тех пор, как у нас появилась тема для обсуждения! — это кое-что прояснялось для нас все больше и больше. Мне нужно было сделать то, что я намеревался сделать после первой же апокалипсической ночи — удрать.

Сначала Кэти и слышать об этом не желала, и мне пришлось спорить с ней всю дорогу домой — спорить против собственной воли, лишая себя своего счастья. Наконец я ее убедил. Из ловушки был один-единственный выход.

Когда мы приехали, Рут уставилась на нас, точно отыскивающий улики детектив. Потом спросила, как мне понравились ее стихи. Я сказал — и это была суцая правда, — что ей еще не удавалось сочинить ничего лучшего. Она была польщена, но приложила все усилия к тому, чтобы это скрыть. Она почти сразу стерла с лица едва вспыхнувшую улыбку и чрезвычайно многозначительно поинтересовалась, что я думаю о предмете повествования. Я был готов к такому вопросу и отвечал, снисходительно усмехаясь. Это напомнило мне, сказал я, великопостные проповеди моего славного добряка-батюшки. Затем глянул на часы, пробормотал что-то насчет срочной работы и ушел, оставив ее, судя по лицу, неудовлетворенной. Полагаю, она предвкушала сцену, в которой ей отводилась роль холодного и неумолимого судии, а я, преступник, должен был всячески изворачиваться или пасть ниц с признанием. Но вместо этого преступник только посмеялся, а судию походя и совсем некстати уподобили болтливому священнику. Эту схватку я выиграл; однако война бушевала по-прежнему и, что было яснее ясного, могла закончиться только моим поражением.

Два дня спустя наступила пятница и, как всегда по пятницам, почтальон принес мне письмецо от матери, а Бьюла, накрывая стол к завтраку, положила его на видное место рядом с моей кофейной чашкой, ибо весьма уважала материнские и сыновние чувства. Я вскрыл его, прочел, посерьезнел, перечел снова, затем погрузился в невеселое молчание. Кэти поняла намек и тревожно спросила, нет ли в письме дурных вестей. На что я, разумеется, ответил утвердительно: есть, мол, основания для беспокойства. Здоровье моей матушки... Предлог был обеспечен. Все порешили тем же вечером. Официально, как глава лаборатории,

Генри предоставлял мне двухнедельный отпуск. Я отправляюсь десятичасовым в воскресенье, а накануне, в субботу, мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим там прощальный пикник.

Одной машины на всех не хватало; поэтому Кэти с детьми отправились первыми на семейном «оверленде». Генри и Бьюлу с пожитками я повез следом на «максвелле». Остальные намного опередили нас; ибо, стоило нам отъехать от дома на полмили, как Генри, по обыкновению, вспомнил, что забыл прихватить какую-то совершенно необходимую книгу, и нам пришлось возвращаться и искать ее. Спустя десять минут мы вновь были в пути. В пути, который вел нас напрямик к встрече с Предопределением. Риверс допил из стакана виски и выбил трубку.

— Даже в перевернутой бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди... — Он покачал головой. — Нет, есть вещи просто непереносимые. — Наступила пауза. — Ладно, говорить, так до конца, — сказал он погодя. — Мили две не доезжая до места был перекресток, где мы сворачивали налево. Дорога шла по лесу, и сквозь густую листву было не разобрать, что делается за поворотом. Когда мы туда подъехали, я сбавил скорость, дал гудок и на самом тихом ходу повернул. И вдруг увидел в канаве у обочины «оверленд», перевернутый вверх колесами, а рядом — большой грузовик с исковерканным радиатором. А между двумя машинами стоял на коленях молодой человек в голубом комбинезоне — он склонился над отчаянно кричащим ребенком. Поодаль, в десяти или пятнадцати футах от них, лежали две кучи, похожие на груды старого тряпья, на мусор — мусор, заляпанный кровью.

Вновь наступило молчание.

— Они погибли? — наконец спросил я.

— Кэти умерла через несколько минут после нашего появления, а Рут — в карете «скорой помощи», по дороге в больницу. Тимми выжил для худшей смерти на Окинаве; он отделался несколькими порезами и парой сломанных ребер. По его рассказу, он сидел сзади, Кэти вела автомобиль, а Рут сидела впереди, рядом с ней. У них вышел спор, Рут там из-за чего-то бесилась — он не знал из-за чего, потому что не слушал; он размышлял, как электрифицировать свой заводной поезд, да и вообще он никогда не обращал внимания на слова сестры, если та начинала беситься. Если на нее обращать внимание, от этого только хуже будет. Но мать обратила — он слышал, как она сказала: «Ты не понимаешь, что говоришь, — а потом: — Я запрещаю тебе говорить такие вещи». А потом они повернули, и ехали слишком быстро, и она не дала гудок, и этот огромный грузовик врезался им прямо в борт. Так что, как видишь, — заключил Риверс, — тут сыграли свою роль обе разновидности Предопределения. Предопределение случая и в то же время Предопределение двух характеров, темпераментов Рут и Кэти: темперамента оскорбленного ребенка, бывшего вместе с тем и ревнивой женщиной, и темперамента богини, припертой обстоятельствами к стенке и вдруг обнаружившей, что на самом-то деле она всего-навсего человеческое существо и ее олимпийский характер может сослужить ей плохую службу. И это открытие так потрясло ее, что она потеряла осторожность, оказалась не в силах справиться с событиями, которым суждено было привести ее к гибели — к гибели (но это, конечно, произошло уже ради моей пользы, это явилось моментом моего психологического Предопределения) вкупе с самыми жестокими физическими увечьями: глаз выбит осколком стекла, нос, губы и подбородок снесены почти напрочь и смешались с дорожной щебенкой в одно кровавое месиво. И еще ей раздавило правую руку, а сквозь чулок виднелись зазубренные края сломанной берцовой кости. Это снилось мне почти каждую ночь. Кэти спиной ко мне: она лежит на кровати в загородном доме или стоит у окна в моей комнате, набросив шаль на плечи. Потом оборачивается и смотрит на меня, а лица нет, одна сплошная кровавая рана, и я просыпаюсь с криком. До того дошло, что по вечерам боялся ложиться.

Слушая его, я припомнил двадцать четвертый год и молодого Джона Риверса, которого, к своему великому удивлению, повстречал тогда в Американском университете Бейрута — он преподавал там физику.

— У тебя был ужасно больной вид, — сказал я. Он кивнул.

— Слишком мало сна и слишком много воспоминаний, — сказал он. — Я так боялся сойти с ума, что взамен чуть не наложил на себя руки. Но тут, как раз вовремя, Предопределение опять вмешалось в мою жизнь, принеся с собой спасительную Благодать в той единственной форме, которая только и могла благотворно повлиять на меня. Я встретил Элен.

— На той же вечеринке, что и я. Помнишь?

— Честно говоря, нет. На том вечере я не запомнил никого, кроме Элен.

Спасенный утопающий запоминает лишь своего спасителя, а не зевак на берегу.

— Теперь-то мне ясно, почему у меня не было ни малейших шансов! — сказал я. — В ту пору я с легкой досадой списал все на то, что женщины, даже самые лучшие, даже такие редкостные создания, как Элен, предпочитают художественной утонченности красивую внешность, предпочитают мускулы с мозгами (а мне пришлось-таки признать, что толика мозгов у тебя есть!) мозгам с примесью изысканного *je ne sais quoi* — что было тогда моей отличительной особенностью. Сейчас-то я понимаю, в чем состояла твоя неотразимая привлекательность. Ты был несчастен.

Он кивнул в знак согласия, и наступила долгая тишина. Часы пробили двенадцать.

— Поздравляю с Рождеством, — промолвил я и, допив виски, поднялся уходить. — Ты не рассказал мне, что после катастрофы случилось с беднягой Генри.

— Первым делом, понятно, рецидив, — начал он. — Но не слишком опасный.

Ведь на сей раз нечего было добиваться, балансируя на краю могилы. Так что обошлось пустяком. Сестра Кэти приехала на похороны и осталась ухаживать за ним. Она напоминала карикатуру на Кэти. Толстая, краснощекая, крикливая. Не богиня в обличье крестьянки, а буфетчица, которая строит из себя богиню. Она была вдовой. Четыре месяца спустя Генри женился на ней. К тому времени я уже уехал в Бейрут; так что мне не привелось наблюдать их супружеское счастье.

Однако, судя по отзывам, его было в достатке. Правда, бедняжка так и не смогла сбросить лишний вес. Умерла в тридцать пятом. Генри сразу откопал себе рыжую молодуху, некую Алисию. Алисия любила, чтоб ею восхищались за тридцативосьмидюймовый бюст, но еще больше — за двухсотдюймовый интеллект.

"Что вы думаете о Шредингере?⁶⁶" — спрашивали его; но отвечала Алисия. Она оставалась с ним до самого конца.

— Когда ты видел его в последний раз? — спросил я.

— Всего за несколько месяцев до смерти. Ему стукнуло восемьдесят семь, но энергия кипела в нем по-прежнему; он и тогда был под завязку полон тем, что его биограф с удовольствием называет «неиссякаемым блеском интеллектуальной мощи». Мне он напоминал механическую обезьяну, у которой перекутили завод. Механические рассуждения, механические жесты, механические гримасы и ужимки. А разговоры, разговоры! Какие безупречные магнитофонные записи старых анекдотов о Планке⁶⁷, Резерфорде и Дж. Дж. Томсоне!

Его знаменитых монологов о Логическом Позитивизме и Кибернетике!

Воспоминаний о чудесных военных годах, когда он работал над атомной бомбой!

Жизнерадостных апокалипсических пророчеств о еще более совершенных и эффективных адских машинах будущего! Можно было поклясться, что говорит живое человеческое существо. Но, слушая, ты потихоньку начинал понимать, что дома никого нет. Пленки прокручивались автоматически, это был *vox et praeterea nihil*⁶⁸! — голос Генри

⁶⁶ Шредингер Эрвин (1887-1961) австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

⁶⁷ Планк Макс (1858-1947) — немецкий физик. Томсон Джозеф Джон (1856-1940) — английский физик.

⁶⁸ Голос и больше ничего (лат.).

Маартенса в отсутствие его самого.

— А разве это не то, что ты советовал? — спросил я. — Ежесекундное умирание.

— Но Генри не умер. Вот в чем вся штука. Он просто оставил заведенный механизм, а сам куда-то сгинул.

— Куда же?

— Бог знает. Наверное, отыскал в собственном подсознании какой-нибудь тайничок на младенческом уровне. Снаружи, всем на удивленье, была эта изумительная заводная обезьяна, этот неиссякаемый блеск интеллектуальной мощи. А внутри смутно угадывалось крохотное жалкое существо, которое еще нуждалось в лести и подбадривании, в сексе и некоем заменителе материнской утробы — ему-то и суждено было услышать траурную музыку у смертного одра Генри. И вот это-то существо неистово цеплялось за жизнь и пребывало не подготовленным к решающему мигу никаким предварительным умиранием — абсолютно неподготовленным. Ну, а теперь этот решающий миг миновал, и то, что осталось от бедняги Генри, возможно, слоняется нынче, бормоча и похныкивая, по улицам Лос-Аламоса или околачивается у постели своей овдовевшей жены и ее нового мужа. И, конечно же, никто не обращает внимания, всем чихать. Вполне разумно. Что было, то быльем поросло. Ну вот, тебе пора уходить. — Он поднялся, взял меня под руку и проводил в прихожую. — Осторожнее за рулем, — посоветовал он, отворяя входную дверь. — Мы с тобой в христианской стране, а сегодня день рожденья Спасителя. Вряд ли тебе попадетя по дороге хоть один трезвый.